



Я. В. Абрамов

В ПОИСКАХ ЗА ПРАВДОЙ

Ставрополь – Кемерово
2017

ББК 84 (2Рос=Рус) 1
УДК 821.161.1
А16

ISBN 978-5-85905-499-2

Я. В. Абрамов В поисках за правдой: сборник рассказов / Яков Васильевич Абрамов / Вступ. стат. и примеч. В. М. Головки. – Ставрополь; Кемерово: ООО «Технопринт», 2017 – 192 с.

«В поисках за правдой: сборник рассказов» (1884) – первая и единственная книга художественной прозы выдающегося общественно-литературного деятеля России, мыслителя-социолога, публициста-просветителя, прозаика, литературного критика, идеолога культурнического течения в реформаторском, легальном народничестве 1880-х – 1890-х годов Якова Васильевича Абрамова (1858 – 1906), в своё время не дошедшая до читателя. Тираж книги, выходящей в петербургском издательстве Ф. Ф. Павленкова, по распоряжению цензуры был уничтожен непосредственно в типографии.

В народническом лагере Я. В. Абрамов занимал особую позицию, связывая идеалы демократического просветительства и программу «постепеновства снизу» с задачами «работы в народе». Развивая реалистические традиции беллетристов-демократов шестидесятых годов и писателей-народников, Я. В. Абрамов-прозаик сосредоточил своё внимание на художественном анализе жизни народа в условиях пореформенного развития. Произвол власть имущих и «мироедов», не думающих об «общем благе», разложение крестьянской общины, рост буржуазного хищничества, власть денег, распад семьи, нравственное оскудение общества, торжество несправедливости во всех сферах жизни – всё это, по убеждению писателя, характеризует «строй общественных отношений», «новый порядок», сменивший крепостнический и патриархальный уклад прежней России. Стремление к познанию «духовной стороны» народа, форм самоорганизации жизни крестьянства, обращало Я. В. Абрамова-художника к изображению роста народного самосознания, процессов пробуждения чувства личности и поиска его героями социальной справедливости. Творчество Я. В. Абрамова высоко ценили М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, В. М. Гаршин, Г. И. Успенский, А. М. Горький и др. современники писателя.

ISBN 978-5-85905-499-2

ББК 84 (2Рос=Рус) 1
УДК 821.161.1

© Я. В. Абрамов, 2017
© В. М. Головки, 2017

Оглавление

<i>В. М. Головки. Яков Абрамов в поисках правды.....</i>	<i>4</i>
<i>Среди сектантов</i>	<i>21</i>
<i>Мещанский мыслитель.....</i>	<i>68</i>
<i>Ищущий правды.....</i>	<i>97</i>
1. Нелюдимец.....	97
2. Бабушка-генеральша.....	102
3. Особое «право»	118
4. Странник.....	131
<i>Иван босый</i>	<i>153</i>
<i>Примечания.....</i>	<i>177</i>

ЯКОВ АБРАМОВ В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Яков Васильевич Абрамов (1858–1906) вошёл в историю России как идеолог культурнического течения в реформаторском народничестве 1880-х – 1890-х годов, как теоретик и практик социального эволюционизма, статистик, вдохновенный публицист-просветитель, прозаик, литературный критик, всецело подчинивший свою жизнь и творчество «работе в народе», целям мирного прогресса страны. В историографии советского периода деятельность Я. В. Абрамова традиционно связывалась с социальными программами правого крыла «либерального народничества» последних десятилетий XIX – начала XX века, оказавшегося в результате напряженной борьбы с марксистскими теоретиками на обочинах исторических магистралей и забытого на долгие годы. Та же участь постигла и Я. В. Абрамова: его богатое историко-культурное наследие стало изучаться только в постсоветское время.

А между тем современники Я. В. Абрамова высоко ценили его вклад в социокультурное развитие России и Северо-Кавказского региона, маркируя именем писателя одно из направлений в русской общественной мысли – течение демократического просветительства. В контексте большого исторического времени наглядно проявляются подлинные масштабы личности Я. В. Абрамова как литератора и общественного деятеля, наделённого художественным талантом и ярким гражданским темпераментом.

Всё то, что предшествовало появлению имени Я. В. Абрамова на страницах ведущих петербургских журналов и газет в начале 1880-х годов, казалось бы, не предвещало его яркой и неординарной судьбы: ведь он стал поистине «властителем дум» целого поколения демократически настроенной интеллигенции, которая в условиях капиталистического развития России после реформы 1861 года, освободившей крестьянство от крепостной зависимости, стремилась помогать народу «в его трудной борьбе с доморощенным кулачеством и быстро нарождающейся... буржуазией»¹, в преодолении отрицательных сторон рыночной экономики.

¹ Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и учёных (от начала русской образованности до наших дней). – Вып. I. – СПб.: Семёновская Типо-литография (И. А. Ефрона), 1886. – С. 23. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.runivers.ru/bookreader/book16777/#page/43/mode/1up> (20.11.2017).

Родился Я. В. Абрамов 22 октября 1858 г. в Ставрополе-Кавказском, в русской православной семье ставропольских мещан². Учился в Ставропольской мужской классической гимназии. Ещё будучи учеником писал корреспонденции в газеты, активно участвовал в подготовке рукописного альманаха, в котором гимназисты помещали свои первые литературные опыты. Сохранившиеся тетради и дневники Я. В. Абрамова, относящиеся ко времени его обучения в 5 и 6 классах гимназии и в Кавказской духовной семинарии, куда юный Я. В. Абрамов перешёл в 1875 году, не поладив с консервативно настроенным гимназическим начальством, но более всего из-за материальной нужды³, дают представление об интенсивной духовной, творческой жизни и широких интеллектуальных запросах будущего писателя-просветителя. Сохранились рукописи неопубликованных ранних прозаических и драматических произведений Я. В. Абрамова («сцены с натуры» «Смотрины», «Современное семейство», драматические этюды «Современный и отсталый», «Перелом», автобиографические рассказы-очерки «Сон», «Отверженный», «Был осенний туманный день...»)⁴, создававшихся в 1874 – 1877 годах в традициях нравоописательной русской реалистической литературы о жизни людей мещанско-купеческой среды. Круг аналитического чтения Я. В. Абрамова этих лет поражает широтой и глубиной научных интересов пытливого ума. Это книги и статьи по биологии, биохимии, физиологии, физике, математике, географии, геофизике, филологии, философии, социологии, экономике, истории, статистике, педагогике, психологии, медицине. Юного Абрамова интересовали науки о Земле, о природе, о космосе, о мироздании. Он читал произведения писателей-демократов и писателей-народников (А. И. Левитова, Ф. Д. Нефёдова и др.). Всё прочитанное и изученное оценивалось им с точки зрения того, что это может дать для умственного и нравственного развития народа, для «борьбы с человеческими заблуждениями»⁵ и нищетой, в которой живет народная Россия. Выписки в дневниках юного Абрамова из сочинений европейских философов и политиче-

² ГАСК (Государственный архив Ставропольского края). – Ф. 91. – Оп. 1. – Д. 1818. – Л. 91.

³ ГАСК. – Ф. 91. – Оп. 1. – Д. 1964. – Л. 129, 129 об.

⁴ ГАСК. – Ф. 91. – Оп. 1. – Д. 1964.

⁵ Там же. – Л. 227.

ских деятелей Монтескье, Фурье, Лассалья, Луи Блана говорят о том, что его глубоко волновала проблема несправедливого «преимущества капитала над трудом»⁶. Судя по архивным материалам, стремление к знанию, «сила» и значение которого в полной мере осознавались Абрамовым ещё в годы его обучения в гимназии и семинарии⁷, не только не поддерживалось семьёй и педагогами-наставниками, но и добывалось им в условиях невероятного сопротивления окружающей среде. Схоластический характер обучения в семинарии побудил Я. В. Абрамова оставить в 1877 году это духовное образовательное учреждение после окончания IV класса. Тогда же он уехал в Петербург, поступил в Медико-хирургическую академию, где в 1877–1879 годах, подобно тургеневскому Базарову, изучал «естественные науки» и «хотел держать на доктора». В рассказе «Механик» (1881), в котором, как и во всех художественных произведениях Я. В. Абрамова, много автобиографического материала, писатель поведал о том, что «голод и болезнь» заставили его героя покинуть академию и вернуться в родной город. Однако известно, что за участие в народническом движении Абрамов-студент в 1879 году был привлечён к дознанию политического характера, «подвергнут аресту на 6 недель» «за распространение книг преступного содержания»⁸ («запрещённых книг») и выслан на родину, в Ставрополь⁹. Тогда же было установлено, что он «принимал участие в деятельности обнаруженного в Ставрополе тайного кружка, занимавшегося распространением революционных изданий»¹⁰. 31 августа 1880 г. над Абрамовым был установлен секретный надзор полиции¹¹, который не был снят до последних дней его жизни. Писатель разделил судьбу многих деятелей-разночинцев эпохи «хождения в народ».

Имя начинающего литератора, приехавшего вновь из Ставрополя в Петербург в 1880 году и сразу же активно включившегося в литера-

⁶ Там же. – Л. 179.

⁷ Там же. – Л. 169.

⁸ Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и учёных (от начала русской образованности до наших дней). – С. 23.

⁹ ГАСК. Ф. 101. Оп. 5. Д. 285. Л. 15 - 17.

¹⁰ ГАСК. – Ф. 101. – Оп. 5. – Д. 285. – Л. 15.

¹¹ Архивная служба Республики Северная Осетия – Алания (АСРСОА). – Ф. 12. – Оп. 8. – Д. 113. – Л. 39 – 53.

турную работу, очень быстро стало известно в России. М. Е. Салтыков-Щедрин, предложивший ему сотрудничество в самом лучшем в то время демократическом органе – журнале «Отечественные записки», прозорливо разглядел в молодом писателе «талантливого», «толкового человека»¹².

В «Отечественных записках» он работал вместе с Н. К. Михайловским, Г. З. Елисеевым, А. М. Скабичевским, С. Н. Кривенко, С. Н. Южаковым и другими предшественниками и теоретиками народничества; в газете П. А. Гайдебурова «Неделя» оказался в среде журналистов, ратовавших за мирное культурничество, утверждавших необходимость личного усовершенствования, активно пропагандировавших «теорию малых дел» (И. И. Каблиц-Юзов, М. О. Меньшиков и др.). Его публицистику чаще всего и рассматривали как выражение программных положений сторонников таких идей.

В широко известном «Русском биографическом словаре» Ф. Брокгауза и И. Ефрона сообщалось, например, что Я. Абрамов стал «одним из главных выразителей течения, которое называлось “абрамовщиной”. Абрамов доказывал, что обществу нужно оставить стремление к “большим делам”, к пересозданию общественного строя; оно должно сосредоточить внимание и энергию на “малых делах”, на “тихой культурной работе” – идти в учителя, земские врачи, бороться с кулачеством и т. п.». В сознании многих современников имя Абрамова прочно связалось с «теорией малых дел», никто и не подозревал (как, впрочем, многие и сейчас), что в этом отношении с идеологами легального народничества – И. И. Каблицем-Юзовым, С. И. Кривенко, С. Н. Южаковым, А. С. Пругавиным и другими сторонниками «малых дел», – его многое не только сближало, но и разводило, нередко даже в противоположные стороны. В статье «Малые и великие дела» (1896) Я. В. Абрамов предложил программу работы интеллигенции, «посвятившей свою жизнь служению народу», с позиций историзма определял цели и пути реализации «задач человеческой цивилизации» в перспективе осуществления программы-минимум («малые дела») и программы-максимум («великие дела»). То, что Я. В. Абрамов работал и печатался в петербургских периодических изданиях разных направ-

¹² Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. – Т. 19. – Кн. 2. – М.: Художественная литература. – С. 293, 278.

лений («Отечественные записки», «Дело», «Устой», «Северный вестник», «Неделя», «Слово», «Наблюдатель», «Русская школа», «Детское чтение», «Русский курьер», «Новое слово», «Сын Отечества» и др.), говорило не об отсутствии определённости в жизненных и творческих приоритетах, а о широте его взглядов и максимальном использовании возможностей для воплощения целей «просветления сознания народа» («Малые и великие дела»).

Общественно-политические и эстетические взгляды Я. В. Абрамова, мыслителя и писателя, далеко не во всем совпадали с методологическими основами народнического мировоззрения, и собственно литературное творчество этого замечательного прозаика и публициста является ярким тому подтверждением.

В его художественной прозе мы не найдем призывов к радикальным переворотам в духе идеологов крестьянского демократизма, выражения веры в особый уклад, в общинный строй русской жизни, которая поддерживалась народниками-почвенниками. В ней нет идеализации «деревни» и самой крестьянской общины. Более того, с иронией говорил писатель о тех, кто «идеализировал» «книжный народ» или «восхищался всем строем деревенской жизни». Нет в его произведениях и проповеди идей субъективной социологии народнических теоретиков. Гораздо больше в наследии Я. В. Абрамова точек соприкосновения с идеологами демократического просветительства (великий писатель И. С. Тургенев, публицист Л. А. Полонский и др.), которые, говоря о большом историческом значении «скромной деятельности» «помощников» народа, «народных слуг», имели в виду осуществление программы «постепеновства снизу». Она рассматривалась ими, как и Я. В. Абрамовым, не в качестве универсальной формулы общественного прогресса, а как деятельность, определённая конкретно-историческими условиями эпохи, когда «всё переворотилось и только укладывалось» (Л. Н. Толстой).

Художественные произведения Я. В. Абрамова «Среди сектантов», «Бабушка-генеральша», «Мещанский мыслитель», «Механик», (1881), «Гамлеты – пара на грош», «Корова», «Ищущий правды», «Как мелентьевцы искали воли», «В степи», «Неожиданная встреча», «Хлудовщина» (1882), «Босая команда» (1883) и др., печатавшиеся на страницах демократических («Отечественные записки», «Дело») и либеральных

(«Устои», «Слово») изданий, свидетельствовали о том, что писатель, относившийся к «образованному и работающему классу», который «вербуетя из народа», в качестве главной своей цели рассматривал изучение «воли массы» (Л. А. Полонский), особенностей «национального развития». Именно эти идеи «носились в воздухе» в тот переломный исторический период, когда двадцатидвухлетний Абрамов, приехавший в столицу из далёкой южно-русской провинции, определял своё место в общественно-литературной жизни, когда наблюдения над условиями труда и бытом народа, почерпнутые на его малой родине – в Ставропольской губернии, становились объектом его теоретической рефлексии, оформлялись в концептуальном отношении, способствовали определению его мировоззренческих позиций.

«Будущность России» Я. Абрамов связывал с уяснением факторов развития народной жизни в условиях капитализма, усиливающегося расслоения русского общества, с познанием «силы и способности русского народного духа», «умственной деятельности русского народа», его способности «к творчеству новых форм жизни» («Программа вопросов для собирания сведений о русском сектантстве», 1881 г.). В рассказе «Ищущий правды» «мирской человек» Афанасий Лопухин идет «по Руси», чтобы убедиться: в условиях жизни «не по совести, не по-Божески» только самоотвержение может помочь человеку обрести веру в силу «любви, объединяющей людей».

Литературные и художественно-документальные произведения писателя, создававшиеся в первой половине 1880-х годов, показывают, что он обратился к почти научному, художественно-социологическому анализу «итогов» первых пореформенных десятилетий, обнажая конфликты времени во имя поисков путей к преодолению «всеобщей неправды». И в этом он был не одинок. Более того, он развивал традиции демократической беллетристики 1860-х годов (Н. В. Успенский, В. А. Слепцов, М. А. Воронов, А. И. Левитов, Н. Г. Помяловский, Ф. М. Решетников и др.), шёл в одном направлении с писателями-народниками (Н. Е. Каронин-Петропавловский, П. В. Засодимский, Н. Н. Златовратский, Н. И. Наумов, Ф. Д. Нефёдов и др.) и близкого к ним Г. И. Успенского. Произведения многих из названных писателей читают и герои Я. В. Абрамова. Все эти прозаики были самобытными художниками слова, которых объединяло то, что они сосредоточили

своё внимание на противоречиях между потребностями общенационального развития (а значит, народа) и существующим строем социальных отношений. Ещё критики XIX века называли их реализм «социальным» или «народным». Я. В. Абрамов, как и беллетристы-демократы и писатели-народники, стремился художественными средствами анализировать процессы разрушения старых патриархальных норм общественного быта и нравственности («Бабушка-генеральша», «Ищущий правды», «В степи», «Иван босый»). Он показывал расхождение в деревне, формирование «типа деревенского кулака» («коммерсанта»), обнищание «обираемых мужиков» и городской бедноты, «разорение и закабаление населения» («В степи», «Как мелентьевцы искали воли», «Корова»), усиление власти денег, капитала, появление «культы золотому тельцу» и утрату «чистой совести», «гуманных привычек». Тип «деревенского кулака», «коммерсанта», «капиталиста», недавнего крестьянина-общинника, воссозданный в таких произведениях Абрамова, как «В степи», «Ищущий правды», «Неожиданная встреча», «Иван босый» и др., характеризуется отсутствием всякой «гражданской ответственности»: его «деятельность» подчинена одной цели – «наживе», и с этой целью он «эксплуатирует все отрасли народного труда», занимается «ростовщичеством и торговой эксплуатацией», скупает «пожалованные... военным и чиновникам земли», «прибирает к рукам “мир”» («В степи»).

В своих художественных созданиях Я. Абрамов запечатлел разложение общины, «сельского общества» («В степи», «Ищущий правды», «Иван босый» и др.) Главный персонаж романизированного рассказа Я. В. Абрамова «Ищущий правды» – Афанасий Лопухин, трагическая судьба которого причинно обусловлена «новым порядком», приходит к двум примечательным выводам. Первый касается всеобщей «несправедливости, неправды, обмана» в жизни «общества». Дело даже не в «утере старых патриархальных порядков и замене их чем-то безобразным», а в том, что «мир» в принципе не является гарантом социально-нравственных ценностей и не обладает формами самоорганизации, которые бы обеспечивали прогресс в общественных отношениях и права личности. Второй вывод порождён осознанием беззащитности крестьянина перед «коммерсантами», «купцами», всеми Распоясовыми, Колупаевыми, Разуваемыми и прочими, занятыми

«набиванием мошны»: «Мрачное воззрение на людей, как на существа, “забывшие Бога” и упоминающие о Боге только для того, чтобы лучше “обдирать” и “тянуть жилы” из окружающих, ещё более укрепились и сделалось для Афанасия Иваныча несомненною истиною...». Отсылки через ставшие нарицательными антропонимы щедринских типов и «чужое слово» к коллективному мнению укрепляли аргументацию выводов героя.

В своей художественной прозе писатель выявлял причины вынужденной миграции крестьян, бывших крепостных, описывал условия их труда, нередко опасного для жизни («Неожиданная встреча», «Как мелентьевцы искали воли»). В появлении различных сект – «духоборов», «шалапутов», «штундов», «скопцов» и др. («Среди сектантов», «Иван босый», «В степи», «Ищущий правды», «Секта шалапутов», «К вопросу о веротерпимости») – писатель усматривал закономерный итог поисков более совершенных, чем крестьянская община, форм самоорганизации народной жизни.

Хорошее знание положения русского крестьянства, отданного во власть «мироедам» и «коммерсантам», было почерпнуто во время работы будущего писателя в разных местах Ставропольской губернии ещё до переезда в Петербург в 1880-м году. Автобиографический характер беллетристических сочинений Я. В. Абрамова позволяет говорить о его непосредственном соприкосновении с жизнью деревни («В степи», «Бабушка-генеральша», «Иван босый», «Гамлеты – пара на грош», «Ищущий правды» и др.), о понимании действующих механизмов ограбления и закабаления народа «кулаками-живорезами», находившимися на положении «владельческих князей» огромного края («В степи»).

В беллетристических и публицистических произведениях Я. В. Абрамов показывал соприродность целого («новый порядок») и отдельных его составляющих (регион, город, село и т.д.). «Новый порядок» – это ёмкая категория, интегрирующая признаки социума «переворотившейся» России. Как публицист и прозаик, он мыслил на языке время-пространственных композиций, поэтому хронотоп становится формой понятийно-образного мышления писателя. Связь локального (регионального) и универсального (общенационального) фиксируется в системе как его образных, так и социолого-публици-

стических аргументаций. Диалектика локального и универсального обеспечивала объективность оценок современного состояния социума, классов, экономики, производства, культуры, нравственности и т.д., что и стало предметом его художественно-социологического анализа. В этом смысле хорошее знание жизни русской провинции (Ставрополья) обеспечивало преодоление провинциализма в понимании и осмыслении общих процессов пореформенного развития России.

Семантические оттенки понятия «новый порядок» необыкновенно многообразны, поскольку всякий раз фиксируют специфическое проявление общего закона жизни в локальных картинах. Но в совокупности они создают образ времени, отграниченный от «старого строя жизни» на диахронной оси и определяемый рамками национально-исторического образа пространства. Соприродность «частей» (жизнь южно-русских станиц, ставших средоточием проявления законов «нового порядка») друг другу и их соприродность создаваемому ими же «целому» (национально-историческому времени-пространству) становится основой художественного обобщения, когда каждое индивидуальное проявление характера или особенностей образа обстоятельств становилось выражением типического, общезначимого, характерного.

Приведём примеры функционирования этого художественно-социологического понятия во внутреннем контексте: «...Старый строй жизни... заменился чем-то таким диким, чему ни один из шалашниковских стариков не мог подобрать другого названия, кроме „денный грабёж“»; «Этот чуждый доселе Шалашной элемент («городские понятия». – В. Г.) был занесён туда властью имеющим и зажиточным меньшинством шалашниковского населения... „По нынешним временам“ бумажный-то закон важнее обычного, ...„расписочки“, „условица“, „документики“ надёжнее слов: „по совести“, „Бог-то, он видит“ и т. п.»; «Иногда это неопределённое отвращение к существующему строю жизни... переходило в более определённый вопрос: „да неужто теперь нельзя как-то по-старинному?“»; «Словом, вся накопившаяся в шалашниковцах под влиянием „нынешних времён“ дрянь вышла наружу и сразу закрыла собою всё хорошее...» («Бабушка-генеральша»); «...Факты несправедливости, неправды, обмана... отношения шалашниковцев друг к другу, семейные отношения, отношения попа

к „мирянам” и наоборот, ...всюду ...утеря старых патриархальных порядков и замена их чем-то безобразным»; «Словом, между попом и прихожанами установились настоящие военные отношения. Те же военные отношения нашёл Афанасий Иваныч и в семье. <...> Он знал и в старых порядках много дурного. Но там дурное вознаграждалось хорошим. Но чтобы чем-нибудь вознаграждались нынешние безобразия, этого Афанасий Иваныч не видел»; «Когда в Шалашной водворились „новые порядки”, из беднейшего большинства её населения выделились несколько человек, которые не имели буквально ничего...»; «Жить окружённым со всех сторон такими явлениями неправды для Афанасия Иваныча стало невыносимым»; «...Коммерческая сторона „святого места” страшно поразила Афанасия Иваныча: этого он уж ни в коем случае не ожидал...»; «Всё нынче дурно. Всюду ложь и обман, всюду неправда. Нет ни правды, ни дружбы, ни любви в мире... Богатый всегда возьмёт верх над бедным... Все испортились, все развратились. Деньги – всё. За деньги ты купишь и тело, и душу» («Ищущий правды»); «Непорядки»... оказались положительно всюду: и в семье, и на “миру”, и в отношениях мирян друг к другу... и в самой деревенской душе»; «“собча”, “по старине”, звуки, лишённые всякого реального содержания, так как ничего “собча” и “по старине” не делалось, а напротив, кругом разыгрывалась настоящая оргия индивидуализма, и всё шло “по-новому”»; «В конце концов у Ивана составилось представление о мире, в котором царят лишь грабёж и поругание сильного над слабым» («Иван босый»).

Что мы видим, сопоставляя фрагменты, в которых функционирует понятие «новый порядок»? Благодаря внутреннему контексту повторяющееся словосочетание «новый порядок» и его синонимы – «нонешние времена», «новые порядки», «существующий строй жизни», «неправда», «нынче», «теперь» и т. д. – обретает добавочные смыслы, характеризующие жизнь современного общества с очень многих сторон – социальной, экономической, духовной, правовой, нравственной. «Новый порядок» – это: 1) ограбление народа; 2) смена „закона совести” юридическим законом, не адекватным справедливости закона совести; 3) девальвация человеческого достоинства и доверия слову человека; 4) нечто принципиально противоположное идеалам гуманизма; 5) моральное разложение общества; 6) торжество неправды,

обмана; 7) распад семейных отношений; 8) утверждение власти денег; 9) обесценение веры и деградация церкви; 10) появление деклассированных общественных групп и т. д. В контексте каждого фрагмента, где употребляется словосочетание «новый порядок», появляется добавочное смысловое содержание.

Круг проблем художественных произведений Я. В. Абрамова был весьма широк. «Невероятность», «фантастичность» пришедшей в движение русской жизни в его произведениях приобретают характер всеобщности, не сводимости к быту: герои Абрамова выбиты из «наезженной колеи», из привычной системы ценностей, их «больно мучает деревенская неправда» («Ищущий правды»), они видят, что «правды-то нигде нет» («Иван босый»), что «мир во зле лежит» («Мещанский мыслитель»), что люди перестали «жить по добру» («Бабушка-генеральша»), что рушатся устои «мира», «общества» («Ищущий правды»), распадается патриархальная семья. При этом надо не забывать, что и «прошлые времена», когда крестьяне находились в «крепостной зависимости», описывались Абрамовым в такой же обличительно-реалистической манере («Как мелентьевцы искали воли»).

Писатель зафиксировал появление первых симптомов сознательного протеста, пробуждения чувства личности. Его художественное творчество в полной мере отвечало задаче «открытия значения личности на почве значения массы», сформулированной в те же годы В. Г. Короленко. Изображение «подъема чувства личности», обусловленного разложением «старого строя жизни», он осуществлял не средствами психопэтики, а в формах публицистического анализа истоков и причин поступков героев, их реакций на всё, происходящее в стране. Чувство собственного достоинства в каждом из них, проявляется по-своему, принимая иногда эксцентричные (история Михаила Зацепина из рассказа «Механик», «притча» Ивана в «Иване босом»), болезненные (безымянный мужик-крестьянин в рассказе «Неожиданная встреча», Савчук, Иван Отченаш, «шалапуты» из повести «В степи») и даже трагические (герои рассказов «Мещанский мыслитель» и «Ищущий правды») формы.

«Работа мысли» всех героев Абрамова, «ищущих правды», заставляет их задуматься над «житейско-нравственными вопросами», «над взаимными отношениями людей друг к другу» («Иван босый»), при-

водит их к выводам о том, что «так жить нельзя», к уяснению причин укрепления «новых порядков», увеличения «численности босой команды», «голоштанников» (по словам разорённого крестьянина, героя «Неожиданной встречи»), то есть тех, кто составляет «особый класс людей, дошедших до последней ступени бедности, на какой только может существовать человек». «Громадные массы» людей, – писал Абрамов в статье-очерке «Босая команда», – находятся в таком положении, что «ум отказывается верить, воображение – представить, чтобы было возможно подобное ужасное существование». Лучшие герои писателя ищут ответы на вопросы, почему невозможно жить «по дружбе, по любви, по совести».

Программа мирного постепенного прогресса Я. В. Абрамова предполагала преодоление «зависимости человека от материальных условий существования», обретение возможностей для открытия «простора его духовным способностям» («Малые и великие дела»). Художественные произведения писателя, создававшиеся в первой половине 1880-х годов, в том числе и те, что составили его первую книгу «В поисках за правдой», давали наглядное представление о том «ужасном состоянии», в котором находится народ, о тех «вопиющих нуждах», облегчить которые призваны «труженики на народной ниве», «отдающие себя всецело на служение народу» («Малые и великие дела»). Иначе говоря, своё литературное творчество Я. В. Абрамов рассматривал как часть программы «работы в народе» и для народа. В публицистических статьях он раскрывал перед «образованным классом» идеалы «работы на пользу народу», призывал демократически настроенную интеллигенцию трудиться в земских учреждениях. «Средний человек», осуществляющий «скромную деятельность» во имя «удовлетворения реальнейших нужд нашего народа», – таков, по глубокому убеждению Я. В. Абрамова, герой переходного времени, осуществляющий средствами «малых дел» «тихую, малозаметную, но великую по своим последствиям культурную работу»¹³.

Воодушевлённые идеями Я. В. Абрамова тысячи молодых людей шли работать народными учителями, деревенскими врачами, акушерками, агрономами, техниками, библиотекарями и т. д. в малые

¹³ Абрамов Я. В. Малые и великие дела // Книжки «Недели»: ежемесячный литературный журнал. – 1896. – Июль. – С. 227.

города и деревни, реализуя таким образом абрамовскую программу-минимум. А.П. Чехов в рассказе «Дом с мезонином» и повести «Моя жизнь» описал это ширящееся движение, работу интеллигенции, которая, откликаясь на призыв Я. В. Абрамова, «посвящала себя распространению... знаний, подъёму производительности народного труда... народно-просветительской, организационно-врачебной и иного вида культурной деятельности земских учреждений»¹⁴.

Бескрылому эмпиризму и разрозненным действиям, при которых игнорируются законы развития общества, Я. В. Абрамов противопоставлял такую системную, «кропотливую работу», которая бы обеспечивала прогрессивное развитие всех сторон общественной, народной жизни – экономики, культуры, образования, науки, социальной сферы, медицины, государственного устройства, законотворчества и т. д.

Как и другим демократам-просветителям, Я. В. Абрамову была близка идея пропаганды всего «добытого и усвоенного европейской цивилизацией» (И. С. Тургенев). Его многочисленные научно-популярные и публицистические работы подчинены именно этой цели («Вселенная: популярный астрономический очерк», «Два великих француза: благодетель человечества Луи Пастер и апостол образования Жан Масэ», «Стефансон и Фультон: изобретатели паровоза и парохода; их жизнь и научная деятельность», «Фарадей: его жизнь и деятельность», «В чём сила Соединенных Штатов», «Народное образование в Японии» и т. д.).

Герой одного из ранних рассказов Абрамова – Востряков («Мещанский мыслитель») не случайно стремился «знакомиться с биографиями благодетелей человечества» – выдающихся писателей, учёных, общественных деятелей и т. д.: «Две черты особенно поразили Гришу во всех биографиях великих людей: постоянство и упорство, с которыми они преследовали раз намеченные цели, и страдания и преследования, которым они подвергались. Черты эти были общи всем биографиям и являлись чем-то необходимым в деятельности людей, вносящих новую мысль в мир». Герой рассказа «Мещанский мыслитель» «решился подготовить себя к предстоящей ему деятельности», выработав в себе по примеру «благодетелей человечества», «во-первых, умение вести дело проповеди любви, а во-вторых, способность переносить всякие

¹⁴ Там же. – С. 214.

страдания», поскольку «всеим своим существом чувствовал»: «надо что-нибудь придумать» в целях приближения к идеалам гуманизма, правды и справедливости.

Именно в этом рассказе содержится генезис замысла издательской серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), начало осуществлению которого было положено Я. В. Абрамовым в 1889-м – 1890-м годах в петербургском издательстве Ф. Ф. Павленкова. Великий просветитель собственной биографией подтвердил известную истину: писатель способен предсказывать своё будущее потому, что сам начинает жить по законам создаваемого им художественного дискурса. Именно для таких, «ищущих правду», как «мещанский мыслитель» Востряков, в издательстве Ф. Ф. Павленкова до 1914, а в переизданиях до 1917 года выходили книги серии «Жизнь замечательных людей». В 1933 году эту серию восстановил А. М. Горький. Издаётся она и по сей день.

Я. В. Абрамов как писатель обладал талантом особого рода. Активное просветительство обусловило ведущую роль «мысли» в его художественных и публицистических произведениях. Ведущая роль «мысли», анализирующей и обобщающей, определяла особенности творческой манеры Я. В. Абрамова: органическим единством всепроникающего авторского комментария, пояснений, оценок и художественной образности создаётся интегративная система повествования, придающая неповторимое своеобразие стилю писателя.

«Невыдуманность», достоверность, документальность сюжетного материала в художественной прозе Абрамова, создававшейся на очерковой основе, являются следствием того, что «фантазия» в его творческом процессе была явлением факультативным. Установка на «правду факта» всегда открыто выражена в произведениях писателя. Развитие коллизии в каждом из них мотивируется реальными фактами жизни автобиографического героя-повествователя. «Много лет подряд мне приходилось проводить лето в селе Круглая Балка. В этом селе жил мой родственник, богатый сельский торговец, и у него-то я жил... в качестве приказчика “по овечьей части”», – так реальными биографическими данными сюжетно мотивируется развитие действия в повести «В степи». В сохранившихся дневниках Я. В. Абрамова 1874 года содержатся сведения о том, что ему «один из... родственников предлагал... занять у него место, которое при хорошем управлении

принесёт... доходы»¹⁵. Речь шла о работе в одном из сёл Ставропольской губернии. Завязкой в рассказе «Механик» является встреча автора-повествователя с героем его сюжета Зацепиным у профессора духовной семинарии, прототипом которого является реальный учитель Абрамова, в годы юности бывшего ставропольским семинаристом. Действие рассказа «Иван босый» разворачивается в селе Александровском, «прототипом» которого является реальное село с таким же названием, расположенное ныне в Ставропольском крае. В тех же дневниках Я. В. Абрамова 1874 и 1876 годов содержится немало сведений о посещении им сел Александровского, Безопасного, станиц Ладовской, Архангельской, Батайской, Дмитровки, Белоглинки, многих других станиц и сёл северо-западной части Ставрополя, большинство из которых находились тогда «в степной части» «земли Донского войска»¹⁶. В этих дневниковых записях много конкретных фактов, диалогов, фраз и т. д., вошедших позднее в повесть «В степи», в рассказы и очерки «Ищущий правды», «Бабушка-генеральша», «Иван босый», «Среди сектантов» и др. Здесь же можно обнаружить и фамилии тех, кто запечатлён в прозе писателя в образах «коммерсантов» – «представителей экономической власти» (Распопов, Ведерников, Лопатины и др.)¹⁷. Документальное начало, очерковость прозы Якова Абрамова обнаруживается даже в топонимике его произведений: Круглая Балка – это название села такого типа, которое распространено в Ставропольском крае и на Кубани («Ладовская Балка», «Горькая Балка», «Каменная Балка», «Николина Балка» и т. д.). Ставропольская станица Ладовская Балка, например, судя по всему, была «прототипом» Круглой Балки и Шалашной, в которых происходит действие в повести «В степи» и рассказах «Ищущий правды» и «Бабушка-генеральша». «Ладовская станица» часто упоминается в дневниках юного Абрамова¹⁸.

Литературная работа Я. В. Абрамова в центральных журналах и газетах способствовала тому, чтобы внимание российского общества концентрировалось на самых важных, значительных для социального и культурного прогресса страны проблемах. Не случайно М. Е.

¹⁵ ГАСК. – Ф. 91. – Д. 1964. – Л. 129.

¹⁶ ГАСК. – Ф. 91. – Д. 1964. – Л. 39 об., 41, 130 об.

¹⁷ ГАСК. – Ф. 91. – Д. 1964. – Л. 29, 39 об.

¹⁸ ГАСК. – Ф. 91. – Д. 1964. – Л. 29, 130.

Салтыков-Щедрин дал высокую оценку «Программе вопросов для собирания сведений о русском сектантстве», где Я. В. Абрамов говорил о путях преодоления социальных противоречий «нового порядка». Салтыков-Щедрин писал Н. К. Михайловскому 18 февраля 1881 г. о том, что после публикации «Программы» Абрамова «непременно останется впечатление и мнение». А в феврале 1884 г. он обращался к тому же адресату с предложением поручить рубрику «Внутреннее обозрение» в журнале «Отечественные записки» Я. В. Абрамову. Написанная им статья в отдел «Внутреннее обозрение» к мартовскому номеру журнала дала повод М. Е. Салтыкову-Щедрину сделать вывод о том, что «Абрамов будет дельнее Кривенко и в тысячу раз талантливее Южакова»¹⁹. Это очень высокая оценка. Редактор «Отечественных записок» имел в виду как аналитические способности нового сотрудника журнала, лишённого доктринёрства в предлагаемых решениях проблем «переходной эпохи», так и его идиостиль, особенности языка, мышления, аргументации, умение оперировать «фактами» и обобщать их.

Сила художественных обобщений и жизненная правда в произведениях Я. В. Абрамова были столь значительны и очевидны, что его первая и единственная книга прозы «В поисках за правдой», второе издание которой было подготовлено в издательстве Ф. Ф. Павленкова в 1884 году (судьба первого издания этой книги Я. В. Абрамова неизвестна) была сразу же запрещена²⁰, а её тираж – уничтожен²¹. Об этом писал Г. И. Успенский в письме В. М. Соболевскому в конце сентября 1884 года: «Павленков издатель вполне солидный, но и его расшатывает цензура, на днях у него уничтожили два издания, Пругавина и Абрамова...»²². Имелись в виду книги А. С. Пругавина «Отщепенцы. Староверы и нововеры. Очерки из области современных религиозно-бытовых движений русского народа» (СПб., 1884) и

¹⁹ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. – Т. 19. – Кн. 2. – С. 293.

²⁰ Сводный каталог русской нелегальной и запрещённой печати XIX века: книги и периодические издания. – Т. 1. – М.: ГБ СССР им. В. И. Ленина, 1981. – С. 13.

²¹ Абрамов Я. В. В поисках за правдой: Сборник рассказов / 2-ое изд. – СПб.: Типография А. М. Котомина и К^о, 1884. – 192 с.

²² Успенский Г. И. Собр. соч.: в 9 т. – Т. 9. – М.: Гослитиздат [Ленинградское отд-ние], 1957. – С. 358 – 359.

Я. В. Абрамова «В поисках за правдой. Сборник рассказов» (изд. 2-е, СПб., 1884), в которую вошли произведения, ранее печатавшиеся в периодических изданиях («Среди сектантов», «Мещанский мыслитель», «Ищущий правды», «Бабушка-генеральша», «Иван босый»). Сохранился лишь один экземпляр этой книги, который в настоящее время находится в фонде «Редкая книга» Российской Национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

Не дошедшая в своё время до читателя первая книга художественной прозы Я. В. Абрамова «В поисках за правдой» благодаря предлагаемому изданию обретает новую жизнь. Я. В. Абрамов, безусловно, был очень крупной фигурой в общественно-литературном движении своего времени. Его художественное и публицистическое наследие объективно способствовало активизации социальных функций искусства. Злободневная проблематика произведений освещалась писателем с позиций гуманизма и тех общечеловеческих ценностей, которые актуализируются в любую переломную эпоху.

Этим близок он нашему времени, времени «перевала истории» первых десятилетий XXI века. Для нас чрезвычайно важны итоги и результаты мыследеятельности Я. В. Абрамова, до недавнего времени «опального» мыслителя, прозаика и публициста, шедшего вразрез с утверждавшейся концепцией революционного «обновления мира» и с почвеннической идеализацией крестьянской России, объективно анализировавшего процессы развития буржуазных «рыночных отношений». В условиях реставрации капитализма, когда сегодня стране навязывается повторение пути «рыночной экономики» и исповедование частнособственнической морали, несостоятельность которых показывал Я. В. Абрамов в процессе художественного анализа всего «строя жизни» между второй революционной ситуацией 1879 – 1881 годов и революцией 1905 – 1907 годов, культурно-историческое наследие этого писателя приобретает социальную и эстетическую значимость, отвечает на вызовы нового времени.

Вячеслав Головки.

Среди сектантов

I.

Вторая половина августа. Полдень. Страшная жара. Тихо; ни одна травка не шелохнется. Всё живое истомилось от жары. В воздухе чувствуется что-то тяжёлое; над степью стоит какой-то сухой туман: это «хмарь», гроза наших земледельцев и садоводов: хлеба и сады, захваченные «хмарью», «сгорают», вянут и пропадают. Все полевые работы прекращены; всё спит: и люди, залезшие под телеги, и волы, спрятавшиеся в высоком бурьяне, и даже собаки...

Трудно идти в такую пору через наши степи: страшная усталость одолевает человека, пот катится с него градом, жар вызывает страшную жажду, а кругом – ни жилья, где можно было бы отдохнуть, ни деревца, в тени которого можно бы укрыться, ни ручья, ни колодца. Вода, которую несёт путник в кубышке, делается не только тёплой, а просто горячей, и нисколько не утоляет жажды. Тоскливо озирается путник по сторонам: не видать ли где белой полсти, натянутой на поднятые оглобли телеги, – и с радостью стремится в ту сторону, где увидит белый клочок на зелёном фоне; там есть тень и вода...

В такую-то пору пришлось мне пробираться пешком через степи недалеко от Моздока. Я страшно устал; несколько раз садился отдыхать, но всякий раз, поднимаясь опять в путь, я чувствовал вместо об-

легчения ещё большую тягость. День был воскресный, в поле не было никого, и потому, сколько я ни смотрел по сторонам, нигде не было видно заветного белого клочка. Вдруг, поднявшись на небольшой пригорок, я увидел целый табор. «Уж не переселенцы ли?» – подумал я и прибавил шаг. Через несколько минут я был возле табора.

То, что я увидел, было нечто в высшей степени странное. В степи были разложены костры; над ними висели громадные котлы, вокруг которых хлопотали женщины. Против котлов стояли большие самовары. Несколькими саженьями далее сидела на траве толпа народа и обедала. Обедавшие представляли странную смесь лиц разных сословий, возрастов и полов. Всех обедавших было до пятидесяти человек. Обедали тихо, не произнося ни слова. Тишина нарушалась только шипением воды в котлах и самоварах, да громким чтением. Это читал Евангелие казак, седой старик, сидевший с двумя другими казаками, помоложе, вне круга обедающих.

Поражённый представившеюся мне картиною, так сильно напоминашею обеда в пустыне, описанные в Евангелии, я стоял и в недоумении осматривал странное собрание. Один из казаков, сидевший возле чтеца, поднялся и подошёл ко мне.

– Не побрезгуй, друг, нашим хлебом-солью! – сказал он мне, отшивая низкий поклон.

– Это что такое? – спросил я в недоумении.

– Это обед для богомольцев.

Тут, наконец, я понял. Я слышал ещё в Ставрополе об этих обедах. Дело вот в чём... Ежегодно в начале августа приходит в Моздок масса богомольцев на поклонение местной иконе Божьей Матери. Богомольцы собираются не только со всего Кавказа, но и из южных губерний России. После Успения, когда в Моздоке бывает самое торжественное богослужение, вся эта масса богомольцев отправляется в обратный путь. В это время в нескольких пунктах, о которых богомольцы оповещаются ещё в Моздоке, для них местными сектантами-шалапутами устраиваются даровые обеда. Обеда эти продолжаются несколько дней и тянутся от зари до зари, так как почти непрерывно одна партия богомольцев сменяется другою: на место пообедавших богомольцев являются новые, голодные.

Я подсел к обедающим. Одна из шалапуток, возившихся вокруг

котлов, подала мне чашку с квасом и ложку. Обед состоял из трёх кушаний: кваса с печёными яйцами, борща и каши с мелкоизрубленной бараниной. После обеда подали чай. Женщины, разносившие кушанья и чай, делали всё серьёзно и молча, произнося только самые необходимые слова.

Напившись чаю, богомольцы стали с поклонами благодарить шалапутов «за угощение». Шалапуты в свою очередь кланялись богомольцам, приговаривая: «не за что, родимые: Божье всё, а не наше». А когда один из богомольцев поблагодарил их за «хлопоты», седой шалапут серьёзно сказал: «мы – для Бога, а Он хлопоты любит».

Часть богомольцев, тотчас после обеда, пустилась в путь. Другая улеглась спать под тенью, которую бросали телеги шалапутов с растянутыми на оглоблях полстями. Наконец, третья подседа к седому шалапуту и его товарищам и завела с ними беседу. Я поместился возле последней группы и стал внимательно прислушиваться.

– Чудное дело! – говорил один из богомольцев, по-видимому, человек бывалый, – сколько святых мест исходил, а нигде этих порядков нет, чтобы кормить даром сѣстолько народу! В Киеве вон, в Лавре кормят, точно; так, ведь, то монахи... да и кормят же!

– Н-да!.. Пища плохая! – утверждал другой богомольец. – И деньги берут: раза три в обед обойдут с тарелкой, – опять же кружек-то что понаставлено!..

– И что вы за люди такие? – продолжал первый богомольец, обращаясь к шалапутам.

– Мы – люди простые, – скромно ответил шалапут, пригласивший меня обедать, – мы – христиане, живём по Евангелию.

– Христиане-то везде, а вот поди ж ты, нигде этого обыкновения нет!..

– То-то и есть, что мало нынче христьян-то, мало кто по-евангельски живёт! В Евангелии что сказано? Алчущего накорми, жаждущего напой, страннаго приими. Разве в Евангелии сказано, чтобы за это деньги брать? А ваши христьяне что делают! Не то, чтобы накормить даром странника, они ещё с него норовят стянуть даром что-либо... какие ж это христьяне?

– Это верно! – подтвердил один из богомольцев, – нынешнего народа не похвалишь – куды плох стал!

– Ну, нет, ты этого не говори! – горячо возразил шалапут. Народ-то он – простой, тёмный, вины его тут нет: что он знает? Виноват тот, кто знает, как нужно жить по-евангельски, да скрывает это от народа простого.

– Кто же скрывает?

– Известно кто: попы!

– Ну, как же они скрывают? Ведь они же читают в церкви Евангелие...

– Что ж, что читают? Ты много ли разбираешь, когда в церкви молишься?

– Да, признаться, не всё...

– Ну, вот то-то и есть! А давеча ты слышал Евангелие – всё разобрал?

– Всё.

– Ну, и выходит, что попы скрывают от вас. Вот что, друг!

– Чего ж им скрывать?

– А чтоб лучше обирать вас...

– Да, ведь, и им кормиться надо-ть!

– Пусть работают...

– Да разве можно без попов быть? – вдруг заговорил доселе молчавший богомolec, с чрезвычайно измождённым лицом. – Что ты говоришь? Чай, у овец и то пастырь есть...

– У нас один священник – Христос Иисус... Пастырь – тот, кто душу свою полагает за овцы, а они положат? – как же! Они – не пастыри, а наёмники... Ты дашь три рубля за молебен – поп молебствует, и ты видишь, что за деньги молится: а за деньги не купишь милость Божью!.. Нет, милый брат, истинно нет: как нет ни у тебя, ни у попа усердия к молитве и к Богу – Бог вас не послушает; дай попу хоть тысячу рублей за молебен, он ничего тебе не вымолит... Истинно, говорю, ничего!..

Шалапут волновался. Все слушатели тоже были в возбуждённом состоянии. Поднялся шум: все говорили в одно время и никто не слушал. Один из богомольцев уговаривал других уйти от «этих оглашенных», которые «сбились с закона»; другой возражал, что «нет, это они верно»; третий рассказывал про случай корыстолюбия священника и т.п. Но заметно было, что большинство богомольцев стояло на сто-

роне шалапутов. Видимо, их проповедь смутила слушателей и нашла отзыв в их сердцах. Не мало влияла на слушателей и сама обстановка проповеди: проповедники были люди, которые во имя идеи («прими странного») производят большие расходы, переносят тяжёлые хлопоты без всякого вознаграждения, без всяких материальных выгод...

Кое-как все успокоились. Богомолец, обозвавший шалапутов «оглашенными», обратился к ним с вопросом:

– Ну, скажите-ка мне, как это будет по вашему: вот мы грешим пред Господом Богом, совесть наша бывает от грехов непокойна, нужно же очищать её исповедью, нужно ж каяться, а кому же каяться, окромя попов?

– Нет, милый человек, грехи волен отпускать один Бог. Чтобы он простил тебе грех нынешнего дня (к примеру говорю), восчувствуй, вздохни пред Богом, скажи грех другому брату своему, и Бог простит тебя. Ведь и в Писании сказано: «исповедуйте друг другу согрешения ваши, и Бог простит вам»... Мало тебе этого – иди в «братию» и там исповедуй грехи свои. Вот тебе и исповедь!..

– Этак, по-твоему, и в храм Божий не нужно ходить? – продолжал спрашивать всё тот же богомолец.

– Храм Божий есте вы, сказано в Писании, и Дух Божий живёт в вас... Вот храм (при этом шалапут указал на грудь), а вот церковь! (и шалапут указал на всех присутствующих)...

– Ну, а насчёт образов как? – проговорил молодой богомолец, всё время жадно вслушивавшийся в слова шалапутов.

– Образа вот они (при этом шалапут указал на себя и собеседников). Человек создан по образу Божьему – вот тебе и образа!..

– Нет, верно тут путного не услышишь! – махнув рукой, сказал богомолец, более других возражавший шалапутам.

Он встал и пошёл. За ним поднялись ещё двое. Но остальные, человек около десяти, ещё плотнее уселись вокруг шалапутов. Это были уже «помазанные», как говорят в наших местах, т. е. кандидаты на вступление в секту...

Долго ещё длилась беседа с оставшимися богомольцами. Не было почти ни одного крупного вопроса религии и жизни, которого не коснулись бы шалапуты. Между слушателями оказались люди, у которых назрели мучительные вопросы и которые и странствовали по святым

местам именно потому, что искали разрешения мучивших их сомнений, облегчения душевной скорби. Они с жадностью прислушивались к речам шалапутов и живо воспринимали их учение.

Только вечером кончилась беседа, и то потому, что пришла новая партия богомольцев, которых шалапуты стали угощать. Видимо, поражённые всем виденным и слышанным, уходили богомольцы от шалапутов. Последние при прощании расспросили уходивших, через какие станицы каждый из них будет идти, и сообщили им имена живущих в этих станицах шалапутов, у которых богомольцы могут остановиться. Этим путём, как я узнал впоследствии, прозелиты направляются к опытным учителям шалапутства.

Я отправился вместе с богомольцами. Между ними трое были уже во второй раз в Моздоке и на шалапутском обеде. Ещё в первый раз на них чрезвычайно сильно подействовала проповедь шалапутов; теперь же они серьёзно подумывали обратиться в шалапутство.

Между прочим, я спросил богомольцев о том, на какие средства устраиваются шалапутские обеды?

– Собирают... ездят за неделю по станицам, ну, жертвуют, кто что может: хлеб, мясо, яйца, деньги... Деньги собирают на чай да на сахар; водку они не потребляют и богомольцам не дают, – так вот вместо водки чай... Иной попросит водки, они обижаются; сейчас всё расскажут, какой вред от неё, от водки-то! Ну, а жертвуют на эти обеды больше все одни шалапуты... А то, бывает, и православные дают, потому – доброе дело... Идёшь, идёшь по степи – истомисься, страсть! А тут и отдохнёшь, и даром наешься: а это нашему брату много значит – ведь, за дорогу-то израсходуешься...

– Ну, а бабы, что варят обед, по очереди назначаются что ли?

– Нет, бабы добровольно... У них это за честь считается. Бывает, что баб наберётся больше, чем нужно, – тогда выбор делают, кто лучше...

Мы дошли до перекрёстка, где расходились наши дороги. Богомольцы распрощались со мною, и я остался один, совершенно подавленный впечатлениями дня...

II.

Расставшись с богомольцами, я скоро достиг цели своего странствования – станицы Е.

Постоялый двор, на котором я остановился, положительно поразила меня своей чистотой и опрятностью. На дворе не лежали горы навозу – этой необходимой принадлежности всех наших постоялых дворов; в комнатах всё было чисто, прибрано и уютно, – на окнах висели даже занавески; тарелки и стаканы, которые мне подавали, были без грязи и не в сале, чего уж вовсе нельзя встретить на других постоялых дворах; наконец, самовар был не зелёный и даже не бурый, а блестящий, жёлтый. Кормили меня на славу: кушанья были простые, но вкусные и сытные. Радужие хозяйки двора и прислуги было выше всякого описания. Вместо грубого, вечно пьяного дворника здесь был смиренный, услужливый молодой парень; вместо всклоченной, вечно зевающей, грязной «Параски» постояльцам прислуживала опрятно одетая казачка; сама хозяйка несколько раз навевывалась ко мне: не нужно ли мне чего, всем ли я доволен; расспрашивала, куда и зачем я иду; соблезновала тому, что я принужден идти пешком, и т.п. Постель постлали мне мягкую, – наложили пуховиков, подушек; спросили, когда меня разбудить, не буду ли я пить молоко утром; не пойду ли купаться на речку и т. д. Когда я лёг, в соседней комнате стали ходить на цыпочках и говорить вполголоса... Словом, столько внимания и заботы я тут встретил, что мог подумать, что попал в дом матери после многих лет отсутствия!..

На другой день я обратился к хозяйке постоялого двора с расспросами о шалапутке, у которой мне советовали остановиться угощавшие меня накануне шалапуты.

– Не знаете ли, хозяйшкa, где тут живёт шалапутка Марья Евграфова?

– Знаю, голубчик, знаю... А на что она тебе?

– Да её знакомые просили меня кое-что передать ей.

– Ну, так, – это я и буду Марья Евграфова.

Я с удивлением взглянул на старушку: я никак не ожидал, что так случайно попаду прямо к ней.

– Ну, какие мои знакомцы дали тебе поручение ко мне? – спраши-

вала между тем хозяйка.

Я должен был сознаться, что никакого поручения у меня к ней нет, и рассказал, как я узнал про неё.

– Вот видишь, – заключила хозяйка мой рассказ, – ты не хотел у меня остановиться, да пришлось...

– Это всегда так, ибо промысел Божий направляет наши шаги! – раздалось вдруг сзади меня.

Я оглянулся. В дверях стоял пожилой мужчина с бледным, измождённым лицом. Одет он был по-мещански: долгополый сюртук, закрытая жилетка и брюки в сапоги. В одежде преобладал чёрный цвет.

Когда мы оглянулись в сторону нового посетителя, он поклонился нам в пояс и произнёс: «спаси вас Бог!». Хозяйка ответила: «спасайтесь!» и пригласила его занять место за столом, на котором был приготовлен чай. Вновь прибывший подсел к столу и тотчас же завёл беседу с хозяйкой.

Меня поразило мученическое выражение его лица. Это было не то болезненное выражение лица, которое происходит от физического страдания: это было именно мученическое выражение. Нечто подобное я видел в «Святых горах»: там был монах, съедавший только по две просфоры в неделю, – так вот у него было такое выражение.

Всё время, пока новоприбывший говорил с хозяйкой, я смотрел на него. Какое-то смирение, тихий голос, отсутствие живости в жестах – всё это прямо бросалось в глаза: казалось, это был оживший труп. Разговор, происходивший между ним и хозяйкой, был для меня совершенно непонятен. Упоминались какие-то Олексы, Грини, Оксаны да Стехи, говорилось о покупке и продаже чего-то, но смысла во всём разговоре я, посторонний слушатель, уловить не мог. Между тем хозяйка и странный посетитель отлично понимали друг друга. Очевидно, у них был условный язык.

Напившись чаю, странный посетитель попрощался с хозяйкой и, поклонившись мне опять в пояс, вышел из комнаты.

– Что это за человек? – спросил я хозяйку.

– Так, проезжий... часто ездит тут, – ответила она с видимой неохотой.

– Отчего же это он так низко кланяется?

– Привык, да и лучше так-то.

– Почему же лучше?

– А так... ведь кланяются ж богатым да сильным, а чем они лучше других? Так уж лучше всем кланяться.

– Вот вы как! И все ваши так думают?

– Кто «наши»?

– Да шалапуты.

– Я, кормилец, не шалапутка... Это, видишь, я больше с шалапутами знаюсь, ну, православные и зовут меня шалапуткой. А мне всё равно, с кем ни знаться; лишь бы хорошие люди были.

– Вы православные?

– Нет.

– Какой же веры вы держитесь?

– Ну, голубчик, всё будешь знать – скоро состаришься, – пошутила она.

В это время в комнату, в так называемую чистую половину, где мы сидели с хозяйкой, вошёл старик-фурщик и пригласил хозяйку на «чёрную половину» произвести расчёт с уезжавшими постояльцами. Желая посмотреть на хозяйку «в действии», я пошёл вместе с нею. Меня в высшей степени заинтересовала эта радушная старушка, и я опасался встретить в ней, под мягкою внешностью, бабу-кулака, или, как говорят у нас, кремень-бабу.

На «чёрной половине» всех постояльцев было до десяти. Из них собралось уезжать около половины. Когда мы вошли в комнату, отъезжающие обратились к хозяйке с вопросом:

– Сколько, хозяйюшка, тебе следует с нас?

– А ничего, родимые...

– Как ничего?

– Да так: вы – люди странные, зачем с вас брать?

– Ну, одначе, за еду, за овёс, за ночёвку, что всё это будет стоить?

– Да ничего я с вас не возьму: вам деньги нужны для дороги... – проговорила хозяйка и с этими словами вышла из комнаты, оставив всех буквально с разинутыми ртами... Я был поражён не менее других и невольно обвёл глазами всех окружающих. Все удивлённо глядели друг на друга. Началось обсуждение происшедшего. Высказывались самые разнообразные мнения, которые тотчас же опровергались и заменялись другими. Одни говорили, что это «подвох», другие – что хозяйка «сдурела»; но эти выводы были сейчас же отвергнуты как

нелепые и ничего не объясняющие. На минуту они заменились было предположением, что хозяйка сегодня справляет поминки и потому жертвует «на поминование» чьей-либо души; но и это предположение было отвергнуто на том основании, что хозяйка ни одним словом не просила о поминовении кого-либо, стало быть и поминовения никакого не может быть. Очевидно было только одно, что всех страшно удивили слова хозяйки, всем было непонятно, что человек, такой же, «как и все мы грешные», мог отказываться, ни с того, ни с сего, от своих кровных денег. Это мог сделать только совсем особенный человек, человек «не от мира сего». Стали припоминать: не заметил ли кто чего-либо особенного на этом удивительном постоялом дворе. Оказалось, действительно, много особенностей: одному не только не дали водки, но отказали и в бутылке, которую он просил, чтобы сходить за водкой в кабак; другого дворник уговаривал не курить, так как табак – «чертово зелье»; третий заявил, что он стоит на постоялом дворе уже неделю и не разу не слышал брани или ссоры между дворовою прислугою, ни разу хозяйка не кричала ни на дворника, ни на кухарку; наконец, всем им вчера какой-то казак читал Евангелие и толковал про «братскую» жизнь... Да, странные люди, и не только странные, но и хорошие. Таков был окончательный вывод.

Собравшиеся уезжать отправились благодарить хозяйку. Та только повторяла: «не за что: всё Божий дар, а не моё».

– Чудной народ, – толковали отъезжавшие, а у нас-то всяк так и норовит друг у друга стянуть!.. Правду говорил казак, что вчера Евангелие читал: по-евангельски живут... Кабы и у нас так-то!..

С такими мыслями уезжали побывавшие на шалапутском постоялом дворе.

Я отправился к местному священнику (его сын был мне товарищ по семинарии), чтобы узнать от него, что можно, о шалапутях. Проходя по станице, я невольно обратил внимание на странное расположение станичных зданий: в центре станицы большие дома с железными крышами, от них, во все стороны – бедные саманные избушки, а на всех четырёх концах станицы опять большие, красивые дома. Батюшка, к которому я обратился за разъяснением этого факта, рассказал мне, что в центре станицы живут торговцы и богатые казаки-кулаки; затем идёт остальное население станицы, представляющее собою материал

для «операций» обитателей центра и потому разорённое, и, наконец, на околицах живут шалапуты, которые, благодаря своей сплочённости и солидарности, успели избежать воздействия на них «операций» и потому зажиточны. Батюшка сообщил мне и своё мнение о причинах, заставляющих шалапутов селиться на окраинах станицы: удобнее всякие мерзости совершать – никто не увидит. А мерзости, по словам батюшки, они совершали не малые: пляшут вокруг кадушки полуголые, вертятся на одной пятке и, наконец, повинны в свальном грехе...

– Ведь, это – ужасные люди, – возмутился батюшка, – что они делают!.. Брак церкви православной вменяется ни во что, и по грехам нашим, в наших же глазах, рвутся все существенные основы семейного союза; на наших глазах, под личиною спасения душ, внедряется в тёмный народ наш коммунальный, доселе неслыханный разврат: с полкой от шубы матери, как слышал я, вернулся один несчастный в дом к себе с коммуны разврата!

– Но, батюшка, ведь это – не более как анекдот: я читал его в одной книге, изданной ещё в 40-х годах! – заметил я.

– Да, вы не верите этому, современные люди, вы видите в секантах какое-то прогрессивное явление; а послушали бы вы, что про этих сектантов рассказывают те, которые были сами шалапутами и оставили потом свои заблуждения...

– Но разве им можно вполне доверять? Ведь они уже далеко не беспристрастные свидетели.

– Ну, нет, я им вполне верю: шалапуты – это такой закоренелый в пороках народ, что от них всего можно ожидать.

– Неужели они так дурны? А между тем, всё, что я видел у них, говорит в их пользу. Вот, например, даровые обеды для богомольцев, даровой постоялый двор...

– Ах, этот постоялый двор! Вот, где он у меня сидит (батюшка указал на свой затылок)! Что я ни делал, чтоб закрыть его, – ничего не поделаешь... Ведь это – центр этой заразы: какая масса людей заражается там этой чумой!.. Приедет человек, его примут ласково, обойдутся с ним заботливо; приедем же это понравится, и вдруг оказывается, что всё это даром, что ни за что денег не берут. Человека всё это поразит, а тут уж сидит какой-нибудь из ихних проповедников, сейчас с Евангелием, начинает читать, беседовать, проповедывать какое-то братство,

критиковать церковь и особенно духовенство... И то не так, и другое не этак... Зачем, изволите видеть, священники берут за требы? Да что ж им-то прикажете делать? Есть и им нужно! А детей воспитывать... на какие средства? Жалованье, ведь, нам не платится... А он толкует: за деньги-де священники спасение продают... Человек лжи! Он и не додумается до самой простой истины, что, без усердия к молитве, к своему спасению, к Богу, никто и гроша не даст священнику. Да и где это есть такие священники, которые молились бы после торга?..

Батюшка даже вскочил и начал ходить. Когда он несколько поуспокоился, я спросил у него:

– А что такое представляет собою сама хозяйка постоялого двора, Марья Евграфова?

– Какая она хозяйка? Она у них только управительница; двор-то содержится на общие средства... А сама Евграфова – да она нечто такое, чему и названья не подберёшь: как ни дурны шалапуты, но те хоть в Бога веруют, а она ни во что!.. Много я пожил на своем веку (батюшка был с сединой), а такой тип встречаю только второй раз... И прежде, знаете ли, этого не бывало; это возможно только теперь, в ваше хваленое время...

– Да, ведь она, батюшка, – старуха, значит человек вашего поколения?

– Что-ж, что старуха? С нею э т о недавно сделалось, а прежде она была истинная христианка. Какое усердие к храму обнаруживала, сколько церковной утвари понадарила нашему храму!

– Вследствие чего же произошла в ней такая перемена?

– Думал я об этом, да так ни до чего и не додумался! Поехала она в Киев на богомолье, да оттуда такая и приехала.

– Вам не приходилось говорить с нею по этому поводу?

– Пробовал – безрезультатно: уклоняется!..

– Почему же вы заключили, что она ни во что не верует?

– По всему видно: в православный храм не ходит, шалапутские собрания тоже не посещает, молитв к Богу никогда не возносит и вопросы задаёт, – вот тем, что к ней-то заезжают... какие вопросы! «Почему, например, можно узнать, что Бог есть?» Что же это такое? кажется ясно, что – безбожница.

– А кто она по своему, так сказать, общественному положению?

– Она – вдова казачьего полковника. Муж её из простых казаков дослужился до полковничьего чина – прежде это бывало. Она и сама – простая казачка, даже безграмотная.

Батюшка зевнул: видимо, я очень надоел ему своими расспросами; но я не унимался.

– А скажите, что заставляет шалапутов тратиться на разные благотворительные дела? – предложил я ему новый вопрос.

– Лицемерие, и больше ничего, – отвечал с досадой священник. Никогда я не поверю, чтоб они были искренние благотворители, без задних целей. Разве может какая-нибудь Евграфова любить человечество, когда она в Бога не верует?..

– Ещё, батюшка, один вопрос: не знаете ли вы, кого это я видел сегодня на постоялом дворе?

Я описал наружность заинтересовавшего меня утром гостя Марьи Евграфовой.

– А, это непременно Линева...

О Линева я слышал как о главе шалапутов целой половины Терской области.

– Неужели же это Линева? – изумился я. Он, говорят, выглядит замечательно смелым, энергическим мужчиной, а этот представляет собой какого-то приниженного маленького человечка.

– Он, непременно он! – утверждал священник. – Он всегда напускает на себя лицемерное смирение, когда сталкивается с незнакомыми людьми, не принадлежащими к мужикам или казакам...

Хотел было я расспросить батюшку о Линева, но в это время к нему пришёл казак насчёт каких-то треб; батюшка, видимо, обрадовался, что может отвязаться от слишком любопытного собеседника, и мне пришлось распрощаться с ним.

Возвращаясь на постоялый двор, я решил прожить в нём несколько дней, сойтись поближе с Марьей Евграфовой и, если можно, добратсья через неё до Линева...

III.

Целую неделю прожил я на постоялом дворе. Много раз я беседовал с Марьей Евграфовой и о вере, и о различных вопросах жизни. Сначала Марья Евграфова избегала откровенных разговоров и всячески уклонялась давать прямые ответы; но, наконец, её самое, видимо, заинтересовала моя личность. В само деле, я должен был казаться Марье Евграфовой каким-то странным человеком: шляется, неведомо зачем, по станицам, ходит пешком не по нужде, а по своей воле, не похож ни на казака, ни на шабая, всё высматривает, ко всему прислушивается, — что, спрашивается, этому человеку нужно? И она однажды, как бы невзначай, категорически поставила мне этот вопрос.

Сказать по правде, я сначала очень смутился. Своему брату — человеку одного со мной покроя я легко могу рассказать и пересчитать по пальцам всё, что довело меня до твёрдого решения непосредственно познакомиться с народом, с его духовною жизнью... Но как это сделать, когда собеседником является человек, живущий, думающий не так, как вы, и даже не понимающий вашего языка? Отделаться какою-нибудь «фразой» я не мог: проживший несколько дней среди людей, поступающих «по правде», я решительно был не в состоянии прибегнуть к этому средству, столь обыкновенному среди нас, людей интеллигентных. И я решился, рискуя быть непонятым, рассказать Марье Евграфовой «всю правду». К этому меня побудило ещё и то соображение, что предо мною была представительница той части народа, которая, подобно нам, мучится сомнениями, ставит вопросы и ищет их разрешения.

Я рассказал Марье Евграфовой, как мы, увлекшись удовлетворением одних «утробных» потребностей и совсем позабывши о потребностях «внутреннего человека», дошли, наконец, чуть не до людоедства; как потом явилось у нас ощущение страшной нравственной пустоты, как у нас возникло страстное желание «жить лучше», проснулась страшная жажда идеалов; как мы не могли собственными силами создать эти идеалы, и как, наконец, решили поискать их в народной среде. Объяснил я ей, как у нас проснулась совесть и мы сознали свои обязанности по отношению к народу; как мы не знали, что, в силу этих обязанностей, мы можем и должны делать, и как решились уз-

нать про то от самого народа. «И потому-то, – закончил я, – я теперь хожу и смотрю, как живут добрые люди».

Марья Евграфова слушала очень внимательно; но, как сейчас же и созналась, поняла далеко не всё. Но общее – искание идеалов и сознание обязанностей – видимо, было понятно ей. По крайней мере она заявила, что «это хорошо, если хочется жить лучше», и что я – «тоже шалапут, да только другой», и с этого момента стала относиться ко мне совершенно иначе, чем прежде. Понравился ли ей в моём рассказе тон искренности, или она увидела во мне нечто родственное себе, – только она пообещала мне оказать всякое содействие для ознакомления с тем, что меня интересует.

– Ну, а к попу ты зачем ходил? – спросила она меня.

– А затем, чтобы узнать от него что-нибудь про шалапутов.

– Что же он говорил тебе про них?

Я рассказал ей о том, что, по словам священника, делается на шалапутских собраниях.

– Не верь ты этому! Он, видишь ты, сердит на них, что они ничего не дают ему, ну и гонит их, и ругает постоянно, и казаков подбивает всячески ругаться над ними... А меня за что он всячески гонит? Вот постоянный двор всё хлопотал закрыть: и общество мутил, и атамана подговаривал, и к начальству бумаги посылал... Ну, а что у меня тут худого?.. Нет, не верь ты ему!.. Лучше сам сходи на собрание, да посмотри, что там делается... Нынче суббота, вот и собрание будет: они под праздники собираются... хочешь сходить?

Я, конечно, изъявил полную готовность посетить шалапутское собрание и высказал своей собеседнице, что я не ожидал даже, что на это собрание можно попасть так легко.

– Чего же им скрывать, коли они ничего дурного не делают? – заметила Марья Евграфова. – Ведь они и попа к себе пускали! Они ничуть этого не боятся... Вот пойдём сегодня вечером к одному человеку, – он тебя и сведёт на собрание: я сама к ним не хожу...

Вечером, когда мы с Марьей Евграфовой вышли со двора, было уже довольно темно. Я спросил свою спутницу:

– Не опоздаем ли мы?

– Нет, на собрание они собираются уж совсем ночью.

– Зачем же они так поздно собираются?

– Пробовали и днём, да православные мешают: стоят около хаты, подслушивают пение, да передразнивают, ругаются скверными словами. Ну, они и стали собираться по ночам, когда православные спят...

После долгих переходов по станичным улицам и переулкам, мы, наконец, вошли на широкий двор, резко отличавшийся от соседних дворов количеством и богатством построек. Кроме обычных в казачьем быту строений, здесь стояли ещё маленькие клетушки. Мне никогда не приходилось видеть в станицах подобных плетневых построек. Я спросил Марью Евграфову о назначении этих клетушек.

– Это ты уж самого хозяина спроси, кормилец: я в их дела не вхожу!
– ответила она.

Мы вошли в избу. Внутреннее убранство избы ещё более удивило меня: кроме стола и двух лавок, ничего более в ней не было. Не было ни «скрыни» (сундука) с одеждой, ни постели с пуховиками, ни полка с посудой. В переднем углу не было икон; на стенах не висело литографий, составляющих необходимое украшение каждой казацкой избы. Зато стены были украшены совершенно своеобразно: на всех четырёх стенах было вбито по гвоздю, а на гвоздях висели большие шейные кресты.

– Здравствуйте, братия! – произнесла Марья Евграфова, отвечивая по поясному поклону всем присутствующим в избе.

– Спасёт тебя Бог! – ответили хозяева, тоже кланяясь в пояс.

В избе было три человека: старик, пожилая женщина и молодая девушка. У всех были чрезвычайно бледные лица. Особенно обратила на себя моё внимание девушка: серьёзное лицо, задумчивая, истомлённая, без малейшей улыбки. На все вопросы, предлагаемые ей Марьей Евграфовой, она отвечала, потупив взор; её вялые движения и страшная худоба изобличали в ней по с т н и ц у – тип, соответствующий великорусской черничке.

Когда мы, по приглашению хозяев, сели, Марья Евграфова начала рекомендовать меня.

– Вот, Миша, – обратилась она к старику, – привела к тебе моего знакомого: хочет он узнать, как вы живёте, что у вас на собраниях делается?.. Так вот своди его – он за этим издалека пришёл.

Старик, которого Марья Евграфова величала «Мишей», оглядел меня с головы до ног и потом пристально посмотрел прямо мне в глаза.

– А ты кто такой будешь, молодец? – спросил он меня.

Я отрекомендовался.

– Что же это ты к нам-то надумал придти? Мы – люди тёмные; а ты – человек книжный; что же тебе смотреть на нас?

– А ты этак-то, Миша, не говори, – вступилась Марья Евграфова, – оттого-то он и пришёл сюда, что он – человек книжный. Кто много знает, тому ещё больше хочется знать. Он, может, всё знает, да про вас не знает... А человек он хороший; ты вот поговори с ним и ты ему расскажешь, что ему нужно, и он тебе скажет, что тебе нужно... А теперь своди его на собрание.

Старик подумал с минуты и согласился.

– Только если идти, так нужно сейчас: ждать нас не будут...

Мы вышли из избы и на улице распрощались с Марьей Евграфовой. Мы со стариком пошли впереди, а женщина с девушкой сзади. Идти нам нужно было на другой конец станицы. Дорогой мы мало-помалу разговорились со стариком.

Беседа наша началась с того, что он спросил меня, зачем мне понадобилось узнавать, как живут шалапуты. Я вкратце повторил ему то же, что говорил Марье Евграфовой, и затем, в свою очередь, спросил его: будет ли он отвечать на мои вопросы?

– Отчего же не сказать? Изволь... Если Маша сказала, что ты хороший человек, значит это верно...

– Ну, так скажите мне, дедушка, зачем у вас на дворе клетушки из плетня?

– А это, паренёк, видишь ли, у меня бывают собрания. А на собрания народ сходится со всех концов станицы, а станица – может, сам видел – большая, есть дворы, что от моего вёрст на десять... ну и с хутора бывают... Собрания кончаются поздно – дальним-то и неладно идти ночью домой: ещё станичный обход заберёт. Вот для них и выстроены клетушки...

– Вот что ещё, дедушка: посмотрел я давча на ваши постройки – видно сейчас богатого человека; а в избу вошёл – там у вас бедность, ничего нет...

– А зачем, миленький мой, заводить нам лишнее? Всё прах и пепел... Зачем нам наряды? Были бы сыты да одеты...

– Ну, а что значит, что у вас в избе на стенах висят шейные кресты?

– А где им больше быть? Они нам не нужны: мы их надеваем, когда в праздник в церковь идём: а придём домой, и повесим их на стенку опять до другого праздника.

– Зачем же вы ходите в церковь? Ведь вы веруете не по-православному, а иначе?

– Нужда заставляет, и ходим.

– Какая же нужда?

– Есть, парень, нужда, есть.

Старик, видимо, не хотел дать прямого ответа. Я не настаивал и перешёл к другим, интересовавшим меня вопросам.

– Так, значит, вы в церковь ходите! Может быть, и обряды православные соблюдаете? Посты, например, держите?

– Посты держим, только не так, как «мирские». Мы, коли поститься, так уж и постимся «вправду»: не едим ничего. Кто чувствует за собой грех, тот покается перед Богом и постится день, два или больше, как ему нужно, как он сам чувствует... У нас и стих такой есть:

«Кто не ест по дню, по два,
То Богу угодно;
Кто три дня постится,
Дух во плоти умертвится;
А кто разумом тверд,
Перетерпит день четверт;
А кто пятый пострадает,
Душа плотью завладеет;
Кто претерпит день шестой,
Помогает Дух Святой;
А кто седмицу кончает,
Душу даром причащает,
Покаяньем очищает».

А у «мирских» пост не такой: не тогда постись, когда чувствуешь нужду, а когда другие пост назначили. Да и какой это пост: вместо скоромного объедаются постным, будто не все равно...

– А вы, говорят, мясо не едите?

– Не едим.

– Отчего ж это?

– Оттого, что убивать тварь Божью – грех. Разве Бог для того создал её? разве ей не хочется жить? Оттого люди и режут друг друга, что они на скотине привыкают лишать тварь Божью жизни. Оттого-то люди и дурны, что вместе с мясом в них входит скотское неразумие... Посмотри-ка на «мирских», что мясо едят: пьяница на пьянице, а живут промеж собой хуже всяких татар: друг друга в ложке утопить рады... И я такой-то был, а как принял д у х о в н у ю веру, другим человеком стал.

– Как же это вы приняли «духовную» веру?

– А вот как, молодец! Лет семь тому назад я погорел; ну, на поправку задолжал, заплатить сил не хватило, и совсем разорился. Стал я пить, целые полгода пьянствовал без просыпа. Худо жил я тогда: день в кабаке, вечером приду домой – жену бью, ругаюсь; сквернословом сделался; одно слово – пропащий человек... Только вдруг и очутился: что ж это, думаю, я делаю? Что я за человек стал? хуже свињи... Пошёл я в церковь, молюсь: скорбел, скорбел душой, и такое вдруг нашло на меня восхищение... И говорю я батюшке: поговори ты со мной, объясни ты мне всё, как есть по Писанию, не откажи, пожалуйста. А он гонит меня: «иди, говорит, прочь, пьяница...». Ну я и пошёл в духовную веру... Теперь живу ничего, дай Бог всем так...

В это время мы подходили к дому, где должно было происходить собрание. Старик постучал в дверь и произнёс: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!».

Ему ответили: «аминь!» и открыли двери.

– С кем это ты? – спросил отворявший дверь, увидев меня.

– Машин знакомый: послушать нас хочет, – ответил старик, – и нас пропустили в избу.

Комната, в которую мы вошли, была для станицы довольно велика. Вдоль трёх стен её шли широкие лавки, а посредине стояли три больших стола. На столах – два громадных, так называемых «сотенных» самовара. Две женщины разливали и разносили чай.

Когда мы прибыли, собрание было почти уже в сборе. После нас пришли только два старика и молодая баба. Всех присутствующих было около 30 человек. Все они сидели на лавках – мужчины и женщины отдельно – и пили чай. Все держали себя скромно и тихо, едва переговариваясь между собою вполголоса. При входе нового посетителя всё собрание поднималось и обменивалось с вновь прибывшим

поясным поклоном и пожеланиями: «спасёт вас Бог!».

Вскоре после нашего прихода поднялся пожилой казак и сказал:

– Ну, кажется, все в сборе: можно и начинать.

Разговоры тотчас прекратились. Послышались заявления, что некоторых членов «братии» ещё нет. Родственники отсутствующих вставали и объясняли собранию, почему последние не явились. Затем было назначено место следующего собрания.

Когда все эти предварительные формальности были окончены, на средину комнаты из тёмного угла вышел мужчина средних лет в сильно возбуждённом состоянии: волосы в беспорядке, на лице следы слёз, грудь судорожно вздымалась от подавляемых рыданий. «Простите меня, братия!» – едва выговорил он и зарыдал. «Я согрешил!». Рыдания усилились. Страшно, тяжело было слушать эти рыдания взрослого человека... Всем было, видимо, не по себе, все прекратили чаепитие и с какою-то болезненною жалостью смотрели на рыдающего мужчину; некоторые женщины утирали платком глаза... Томительное молчание продолжалось несколько минут. Слышались только сдавленные рыдания, да отрывочные фразы: «Простите!.. Боже, как я согрешил!.. Нет человека грешнее меня!»... Наконец, одна пожилая женщина проговорила: «Бог тебя простит! И мы тебя прощаем! так что ли, братия?». Все молчали. «Не согласны, значит?» – спросила та же женщина. «Не согласны, – ответил какой-то суровый старик, – он осрамил всю братию». Рыдавший упал на колени и стал умолять о прощении. «Павлуша! – продолжала та же шалапутка, обращаясь к суровому старику, – не будь жестокосерд, видишь, как он плачет». «А разве прежде он не плакал? А потом опять напился и осрамил «братию» пред «мирскими». Ты послушай, что говорят «мирские»: «вона, говорят, нынче и шалапуты по кабакам валяются»... Как же его простить?»... «Блаженны милостивые» – раздался вдруг чей-то голос. «Да я что, я – как братия, – сдался суровый старик, – я против общества не пойду»... «Ну, так, как же, братия? – спросил какой-то шалапут, – прощаете?» «Прощаем, ещё раз прощаем!» – заговорили все. Провинившийся поднялся и, кланяясь собранию в пояс, проговорил: «Спасибо вам, братия!.. Дай Бог вам за это... всего»...

Мало-помалу все успокоились. Женщины, разносившие чай, стали собирать всё со столов. Когда столы были очищены, к одному из них

подсел суровый старик с маленьким Евангелием в руках. У большинства присутствующих тоже оказались в руках Евангелия на русском языке. Старик начал читать о нагорной проповеди, и все, имевшие Евангелия, раскрыли их на том же месте. Когда чтец дошёл до текста «Блаженны милостивые, так как они помилованы будут», он остановился и произнёс: «Это как раз подходит к нынешнему. Ну, кто скажет нам, что значат эти слова?». Поднялся шалапут лет 25-ти и высказал желание представить объяснение тексту. «Говори, говори!» – произнесло несколько голосов.

Толкование шалапуты было чрезвычайно замысловатое. Он, как и большинство шалапутов, понимал Евангелие «в притчу», т.е. смотрел на евангельские события не как на происходившие в действительности, а как на придуманные для лучшего уяснения нравственных положений. Понятно, что, при таком взгляде на содержание Евангелия, шалапуты не стесняются в истолковании евангельских текстов. В данном случае шалапут истолковал прочитанный текст следующим образом: «Мы должны быть милостивыми, чтобы нас любили; а если нас будут любить, то наша вера распространится по всей земле, и нас тогда перестанут преследовать; вот мы и будем помилованы».

Все присутствующие согласились с таким толкование текста, и чтение продолжалось. Кроме нагорной проповеди, было прочитано ещё несколько глав из Евангелия, причём на некоторых текстах оставались и истолковывали их. Толкования большинства текстов принимались всеми беспрекословно, но относительно значения некоторых возникало разногласие и возбуждались споры. В большинстве случаев споры эти не приводили ни к чему, и каждый из спорящих оставался при своём мнении.

По окончании чтения Евангелия, старик-чтец уступил своё место молодому казаку, который и прочитал по одной главе из книги св. Тихона «О должностях христианина» и из книги «Путь в царствие небесное». И это чтение сопровождалось разъяснениями и толкованиями, в которых принимали участие все желающие.

Затем началось пение. Сперва пропели церковные песнопения: «Благослови, душе моя, Господа», «Хвалите имя Господне» и «Заступница усердная». Потом достали листки, на которых были написаны чисто шалапутские песни. Песни эти были – одни грустные, другие

радостные; первые пелись заунывно и протяжно, вторые – скоро и на весёлый лад. Вот для образца по одной песне каждого рода:

Грустная

«Терпите, сиротушки, вы гонимы,
Несите распятый крест,
Ради Господа вышнего Творца!
Страдает Создатель наш.
За всех грешных нас.
Слетались праведные с четырёх сторон
И думушку думали за едино:
Кому из нас, братие, ризу взять!
Взяли нашего батюшку неверные жиды,
Повели нашего батюшку без всякой вины,
Идёт наш Создатель,
Сам шатается, будто силы нет.
Пожелал наш батюшка уста промочить;
Жида набрали чашу желчи.
Тогда не принял Создатель гибели;
Оставил нам грешным словеса свои:
Творите и вы, праведные, чудеса мои!»

Радостная

«У всех Троица Святая
В сердцах обитает,
Престол себе поставляет
Всех верных приводит.
Кто приходит, принимает,
Вон не высылает,
Всех любовью покрывает,
Верить научает
Богу-человеку.
Мы желаем, наш Спаситель,
Живой Испуитель,
Под покровом Твоим бытии,
Образ твой носить,
Живой образ твой носить,
Света не гасити».

Некоторые песни, певшиеся на собраниях, по всей вероятности, заимствованы шалапутами из какого-нибудь печатного источника. Вот одна из таких песен, видимо, несколько искажённая:

«О, невинного страдальца
И несчастного томят;
Жить не долго остаётся,
Знать, судьба мне так велит,
Знать, назначено судьбою
Дней счастливых не видать.
Вы прощайте, все мои родные!
Знать, в чужбе мне помирать.
Вы прощайте, мои милые друзья!
Знать, во век вас не видать.
Мне сказали: «ты преступник»...
Но невинна жизнь моя.
«К смертной казни»... мне читали;
Но Бог будет им судья!»

Кроме песен такого рода, шалапуты поют на собраниях ещё другие, в которых жестоко осмеивается белое и чёрное духовенство. Перебирая листки, по которым шалапуты пели песни, я встретил одну песню последнего рода; начиналась она словами: «Во один день, очень рано, в пост великий на страстной»... Поются такие песни, как мне тут же объяснил старик «Миша», очень редко, когда вследствие чего-либо «братия» сильно озлобится на священника.

Было уже за полночь, когда кончилось пение. Хозяйки уставили столы кушаньями, и начался ужин. За ужином шла беседа о хозяйственных делах, о различных случаях из жизни всей братии и отдельных её членов и т.п. Разговоры велись тихо и сдержанно и пересыпались евангельскими текстами.

После ужина часть шалапутов разошлась по домам, а наиболее дальние остались ночевать частью в избе, частью в таких же клетушках, какие я видел на дворе у «Миши». В одной из таких клетушек оставили ночевать и меня.

IV.

На другой день, когда я проснулся, было уже очень поздно. Все шалапуты, оставшиеся ночевать после вчерашнего собрания, успели разойтись по своим домам. Хозяева уже пришли от обедни и поджидали только меня, чтобы сесть обедать. Когда я, умывшись около колодца на дворе, вошёл в избу, то застал всю семью хозяев в сборе вокруг одного из столов, за которым вчера происходил братский ужин. Вся семья состояла из четырнадцати человек. При моём входе все поднялись со своих мест и приветствовали меня поклонами.

– Ну, что, каково спалось? – спросил меня седой казак, по-видимому, глава семьи. – Небось, плохо спать по-казацки-то, на одной бурке? Ну, а теперь садись, да, благословясь, и закусим.

Все поднялись, и старик торжественно произнёс предобеденную молитву, приблизительно такого содержания: «Боже, насытивший в пустыне пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, насыти ныне нас, рабов твоих. И да будут нам сия брашна не во вред, а на пользу». За обедом все сидели чинно и молча. Разговаривали только я, старик, произносивший молитву, да ещё мужчина средних лет. Женщины, которых было три, и два парня только изредка вставляли отдельные слова в наш разговор; женщины ограничивались даже исключительно тем, что изредка приглашали меня съесть то или другое. Остальные присутствующие за столом были подростки и дети.

Я высказал удивление по поводу многочисленности хозяйской семьи. Старик, улыбнувшись, ответил:

– Да вишь тут одна семья по нашему, по духовному, а по мирскому тут целых две семьи – моя, да вот его.

И он указал на своего соседа, пожилого мужчину.

– Вы, что же, только живёте вместе, а хозяйство врозь? Или и хозяйство ведёте сообща?

– По нашему, коли семья одна, стало быть и хозяйство одно.

– А, ведь, это дедушка и у мирских бывает.

– Бывает-то бывает, да только у них и вот что бывает: сойдутся, а потом норовят друг дружку обокрасть. А у нас не так: всё одно – нет ни моего, ни твоего. Я вот и различать не хочу, кто мои дети, а кто его...

– И давно вы так живёте?

– Да, слава Богу, седьмой год.

– И ни разу у вас ссоры не было?

– Какая ссора, что ты! – с укоризною сказал другой хозяин, помоложе.

Я посмотрел на всех присутствующих – и мне стало неловко от своего вопроса, чего им, и в самом деле, ссориться? Ссорятся не от хорошей жизни; а тут все смотрят так довольно, так спокойно... Чтобы несколько скрыть своё смущение, я спросил старика:

– Отчего вы сами мясо не едите, а других угощаете им? Ведь если грех мясо есть, то грех и другим его давать.

– А кто же из духовных угощал тебя мясом?

Я рассказал об обеде для богомольцев.

– Так, ведь, и у нас есть такие, что мясо едят.

– Но, ведь, это грех?

– Грех.

– Как же вы поступаете с такими грешниками?

– Никак. Они пока не сознали своего греха, а когда сознают, сами перестанут.

– Ну, а вы и на продажу не станете резать скотины?

– И за тысячу рублей не стану... Да у нас и резать нечего: мы и скота такого не держим.

– А какой у вас скот?

– Рабочий скот у нас – вольты; держим мы ещё коров для молока... У нас даже и птицы нет, кроме кур – для яиц.

– А овец и свиней у вас нет?

– Нету, не держим: из-за одной шерсти да щетины невыгодно держать.

– И у всех духовных так?

– Нет: в других местах духовные держат и свиней, и овец, и лошадей...

– А у вас и лошадей нет?

– А на что они нам? У нас не работают на лошадях.

– А сыновьям – казачью службу отбывать?

– Так мы и не станем... отозвались парни.

– Как же не станете, когда вы обязаны прослужить сколько-то лет?

- Мы откупимся.
- А если не откупитесь?
- Тогда убежим и будем прятаться.
- Куда же вы убежите?
- Найдём куда, а служить всё-таки не будем.
- Отчего же вы так не любите службы?
- Нам служить нельзя, – проговорил хозяин помоложе, – вдруг война – и резать, значит, людей?.. Нет, уж избави Бог...

Обед кончился следующей песнею, довольно стройно пропетую всеми шалапутами:

Благодарим Бога Отца,
Сына Божия Творца,
Что нам пищу сотворил
И вкусить благословил,
По рядам нас посадил,
Михаил Архангел сокатил,
Сытой своей насладил.

После обеда все члены семьи куда-то разошлись, и мы остались в комнате вдвоём со стариком. Осматривая комнату, я заметил в переднем углу две иконы, а ниже их полку с книгами и тетрадями. Удивлённый присутствием икон, я спросил старика:

- Ведь вы отвергаете иконы: зачем же они у вас?
- А так, для видимости.
- Как для видимости?
- Уж это ты сам смекни.
- И книги тоже для видимости?
- Нет, книги наши.
- И посмотреть их можно?
- Для чего не посмотреть... Посмотри!

Я начал просматривать книги и рукописи. Здесь было несколько экземпляров Евангелия на русском языке, псалтирь на славянском языке, несколько житий святых, из которых я запомнил жития Алексия человека Божия, бессребреников Косьмы и Доминана и св. Агнессы; книга св. Тихона, которую читали на вчерашнем собрании; книга (точно заглавия её не помню), составленная православным священ-

ником и содержащая в себе письма малютки с того света к своим родителям; книга написана стихами и имеет целью убедить родителей не грустить об умершем ребёнке, так как ему много лучше там, у Бога, чем было здесь, в этом мире, где так много зла. Затем шли рукописи: «Сон Пресвятой Богородицы», который оканчивается словами: «Кто сон твой, Богородице, будет имети, муки избавлен будет и огня негасимого, и червя неусыпающего, и тартара преисподнего»; «Плач Иосифов»: «кому повем печаль мою, кого призову к рыданию?», «Святое писание, писанное чудесным образом Господом нашим Иисусом Христом собственною его рукою, золотыми буквами»; «Сказание о двенадцати пятницах», в котором описываются блага, которые ожидают почитающих пятницы, и казни, которые обрушатся на непочитающих; затем сборник житейских наставлений: какого святого нужно поминать пред началом посева, пред уборкой хлеба, при переправе через реку, при отправлении в суд и т.д.; как узнавать, какая шерсть «ко двору», какая – нет, какая лечит разные болезни и т. п. Затем здесь же были два листка, на которых написаны разные афоризмы: «Честность осталась у аптекаря на стрелке», «Правда пошла на каторгу», «Правосудие у сенаторов на пуговицах» и т. д.¹ Листки эти были озаглавлены крупными буквами: «Основы».

– Что это такое значит «Основы»? – спрашиваю я старика.

– А на этом ныне жизнь основана, потому и «основы».

На самом низу лежала довольно толстая рукопись. Она была написана шифром.

– Это что такое?

– Книга Бога живого.

– Да как же её читать?

– Кто понимает, тот и читает.

– А меня, дедушка, не научишь, как читать?

– Не гневись, родной, только сказать тебе, как её читать, – нельзя.

– Ну так, по крайности, скажи, что в ней написано?

– И этого, миленький, нельзя.

¹ Г. Пругавин встретил те же самые афоризмы у старообрядцев Архангельской губ. («Русская мысль», 1881 г. кн. 1-я). Так как эти афоризмы несомненно новейшего про-исхождения, то обращение их в народе на двух противоположных концах России представляет собою факт весьма замечательный.

Я ещё раз осмотрел загадочную рукопись. Шифр состоял частью из русских букв, частью из крестиков, чёрточек и других значков. Позднее мне удалось достать ключ к шифру, употребляемому шалапутами, но зато не приходилось более встречать «Книги Бога живаго». Так я и доселе не знаю, что это была за книга...

Когда пересмотр книг и рукописей был окончен, я спросил старика, откуда он всё это взял.

– Печатные книги нам Линева² привозил, а писанные переписываем друг у друга.

– А Линева откуда берёт книги?

– Ему присылает Ангельское общество.

– Какое общество? – переспросил я.

– Ангельское. У Линева есть и бумага за печатью от этого общества.

– Что же это за общество такое? Кто там, в этом обществе?

– Этого, голубчик, я уж не знаю...

– А как Линева получает книги?

– По чугунке. Ему сразу столько присылают, что он целый воз с чугунки привозит.

Меня крайне заинтересовало это «ангельское» общество, присылающее книги шалапутам. В других местах шалапуты называют это общество «обществом избранных Божьих». Впоследствии я узнал, что это было «общество распространения книг св. Писания». Линева долгие годы состоял членом-сотрудником этого общества. Этот факт несколько лет тому назад наделал много шума, который окончился исключением Линева из членов «общества»...

– Ну, а кто переписывает эти тетрадки?

– Сами.

– Значит, у вас много грамотных?

– У нас, почитай, все грамотные; вот насчёт письма не все могут, а читать у нас много док.

– Где же ваши научились читать?

– Разно: молодые в школе, а большие друг у дружки.

– А детей вы пускаете в школу?

– С чего же не пускать? Вот в других местах духовные точно боятся

² Фамилия Линева придумана мною взамен действительной фамилии одного из вожakov шалапутства.

школы; да и у нас кое-кто дома учит, а в школу не пускает. Ну, а я не боюсь: что с мальчишкой сделается? Ведь я же ему наставление даю: что слушать, а что выпускать из ушей. И с другими ребяташками он не станет бегать, скверности никакой не переймёт.

– Почему же он не станет с ребяташками бегать?

– Да я его наставил.

– А если он не послушается?

– Как он не послушается? Вот кабы я был дебошир, пьяница, жену бил, ребят за вихры тискал, – ну, тогда б он, точно, не послушался... А теперь с чего?

Старику, видимо, понравился разговор со мною, и он предложил мне пойти с ним посидеть на завалинке, где должна собраться целая б е с е д а шалапутов.

При выходе из избы я обратил внимание старика на то обстоятельство, что из избы на двор были проделаны целых четыре двери.

– Это на всякий случай, – ответил старик.

– Как на всякий случай?

– На случай происшествия.

– Какого происшествия?

– Если станут разгонять. Ведь нас иногда разгоняют...

– Кто же разгоняет?

– Поп да атаман.

– И часто?

– Нет, не дюже.

– За что ж вас разгоняют?

– А кто их знает!.. У нас ещё хорошо; а вот под Екатеринодаром – так там штраф берут, если кого поймают на собрании; так пятнадцать рублей и возьмут, ни за что ни про что. А не отдать штраф, так волов продадут...

Мы подошли к завалинке одного из шалапутских домов; там уже собралось несколько казаков из числа бывших на вчерашнем собрании. Со мной поздоровались, как со знакомым, и освободили мне место на середине завалинки.

Окна того дама, около которого собралась «беседа», были выкрашены в голубой цвет. Так же были окрашены окна дома, где я ночевал, и некоторых других домов, которые, как я уже знал, принадлежат шала-

путам. Я обратился по этому поводу с вопросом к «беседе»:

- У вас обязательно так красить окна?
- Да, у нас у всех так... Ну, в других местах у духовных это не везде.
- Для чего ж вы под один цвет красите окна?
- Чтобы духовные из других мест узнавали наши дома.
- А много духовных в других местах?
- А ты думал – мало? Ведь нас, милый брат, сто сорок тысяч; тут и

полковники, и генералы есть. Вся Ставрополья с нами. На л и н и и ³ попы свои церкви позапирали и смотрят к нам... Ты вот, верно, не знаешь, а наша братия это знает: ведь само высшее начальство постоит за нашу братию; оно только ждёт, когда нас будет больше, чем н е в е р н ы х: тогда оно вступится за нас, и тогда нам всё вернётся; теперь мы ховаемся от неверных, а тогда они будут ховаться от нас... И это будет скоро, скоро...

- Почему ж вы думаете, что это будет скоро?
- А посмотри: теперь духовные везде, а десять лет тому назад про них не было и слышно...

В это время откуда-то издалека донеслись звуки хороводной песни.

- Ишь беса радуют, – проговорил один из шалапутов.
- А ваши девки и парни не ходят хороводы водить?
- Избави Бог! Разве им хочется в п е к л о угодить?
- Да разве за хороводы в пекло попадают?
- А то как же? Вот видишь ли, шёл мимо карагода один святой – забыл я только, какой – и видит: на каждом плясуне бес сидит, да сидит-то прямо верхом. Вот ты и думай... Да и не диво: иной раз посмотришь, что там проделывают девки и парни, – мерзко и сказать...
- И св. Тихон осуждает карагоды, – заметил другой шалапут.
- А вы св. Тихона, видно, почитаете?
- Святой человек был.
- А других святых вы почитаете?
- Алексия, человека Божия, почитаем, Катерину, Егория...
- Может, вы почитаете всех святых, каких и православные почитают?
- Нет, не всех. Вот Семёна-столбника не почитаем: за что его почитать? что на столбу стоял?..

³ *Линией* называется местность, непосредственно прилегающая к северному склону Кавказских гор.

Некоторое время мы помолчали.

– Вот ты говоришь про Алексея, человека Божия, – обратился один шалапут к другому, – Расскажи ты мне, пожалуйста, его житие... Я грамоте-то не разумею, – обратился говоривший ко мне, – так вот всё других прошу рассказывать мне. Житие-то это я раз слышал, да не всё запомнил. Расскажи, Александрушка!

Начался рассказ о человеке Божьем. И рассказчик, и слушатели принимали близко к сердцу все случаи жизни святого, вкладывали в них свой особенный смысл, волновались при описании его страданий, удивлялись его подвигам, делали выводы и применения к своей жизни...

Долго длилась беседа. За рассказом об Алексее, человеке Божьем, следовали рассказы о Варваре-великомученице, о Софье и её трёх дочерях: Вере, Любви и Надежде, о Феодосии Печерском и т. д.

Уже поздно вечером я возвращался на постоялый двор. Мне дали в провозатые молодого парня. Когда мы проходили мимо кабака, откуда слышались песни, пьяные крики, ругательства, молодой шалапут промолвил: «посмотри на мирских-то»...

А «духовные», подумал я, тоже из «мирских» вышли; значит и в «мирских» есть нечто, могущее создавать «духовных»...

V.

Марья Евграфовна встретила меня вопросом:

– Ну что, видел?

– Видел.

– Похоже на то, что про них говорят?

– Нет, совсем не похоже.

– То-то вот и есть! И не верь ты никогда, что тебе другие будут говорить про шалапутов. Они – хорошие люди, и все это на них напраслину взводят...

Мы помолчали.

– А знаешь что? – начала опять Марья Евграфовна. – Я тебе правду скажу: есть и между шалапутами дурные люди, да такие дурные, что хуже всякого татарина.

– Как так?

– А вот если побываешь в П-ской станице, там и увидишь таких шалапутов.

– Что же они дурного делают?

– Да, вишь ты, между собою-то они хорошо живут, не хуже наших; ну, а с православными дурно поступают: у них и за грех не считается обмануть или обокрасть православного... Да ты сам лучше побывай там – всё и увидишь...

На другой день я отправился в путь, получив предварительно от Марии Евграфовны указания, к кому я могу обращаться в станицах, которые я намеревался посетить...

В станице П-ской я совершенно неожиданно встретил своего старого знакомого Полуектова. Полуектов – человек образованный; в станице он живёт около трёх лет и держит бакалейную лавку. Подобная встреча была для меня положительной находкой.

Удовлетворившись любопытству Полуектова относительно наших общих знакомых, я приступил к интересующему меня предмету – п-ским шалапутам. Оказалось, что Марья Евграфовна говорила о них совершенную правду. Внутри п-ской общины шалапутов господствовала полнейшая солидарность, выражающаяся в призрении сирот, в единовременной помощи пострадавшим от чего-либо членам общины, в выдаче постоянных пособий из общинной кассы семьям, имеющим много неспособных к работе членов и т. д. Но зато ко всему, стоящему за пределами общины, п-ские шалапуты относятся самым враждебным образом: сделать какую бы то ни было пакость православному считается у них чуть не подвигом.

– И замечательно, – говорил Полуектов, – что подобная вражда к людям, не входящим в состав общины, встречается именно в тех группах шалапутов, которые не далеко ушли от православия. Например, шалапуты нашей станицы отличаются от православных только строгим образом жизни, да ещё тем, что у них существуют собрания. Их религиозные убеждения почти не уклоняются от православия. Они вполне признают даже обрядовую сторону христианства: почитают иконы, кресты, верят в мощи, с охотой посещают церковь, усердно молятся и в церкви, и дома, говеют чаще православных, строго соблюдают посты, исполняют все домашние обряды церковного характера

и т. д. Наоборот, группы, далеко ушедшие от православия, относятся совсем иначе к лицам, не принадлежащим к секте. Вот в соседней станице есть шалапутка, придерживающаяся крайне рационалистических взглядов в области религии: она посвятила всю свою жизнь на то, чтоб заботиться о сиротах, калеках, вообще обездоленных людях, и совсем не обращает внимания на то, какой веры держатся эти несчастные...

– А как вы думаете, какие причины вызывают такое враждебное отношение некоторых шалапутов к остальным людям? – спросил я.

– Думаю, что причиною тому – преследования, которым подвергались, да и доселе подвергаются шалапуты при своём появлении в той или другой местности. А если потом, с дальнейшим развитием шалапутства, враждебное отношение шалапутов к остальному миру исчезнет, то в этом главную роль играет с о з н а н и е шалапутов: они начинают п о н и м а т ь, что простые, заурядные члены православия не виноваты в своем враждебном отношении к шалапутам; что, строго говоря, такого враждебного отношения в массе православных и не существует, а что эта враждебность проявляется только в отдельных личностях, и то только вследствие подстрекательства извне.

– Какие же это подстрекательства?

– А вот хотя бы те басни, которые распускаются про шалапутов... Православное население с удивлением смотрит на шалапутов: каким образом они ухитряются быть зажиточными при тех условиях, при которых православные неминуемо попадают в кабалу и бедствуют? Поставив себе такой вопрос, многие православные удовлетворяются, по крайней мере на первое время, предположением, навеянным досужими людьми: «чёрт даёт деньги шалапутам». Создаются целые легенды. «У шалапутов – говорят – бывают пляски вокруг кадушки; а после пляски вылезит их бог и оделяет всех деньгами». «Шалапуты кладут на ночь деньги на стол, а на утро находят там вдвое больше», и т. п... Иногда причиною вражды православного к шалапутам является и какое-либо личное обстоятельство. Переждёт, например, в шалапутство женщина и отказывается от исполнения своих брачных обязанностей по отношению к мужу: «хочу, говорит, чистоту соблюдать», или: «не люблю тебя, а ведь грех жить не по любви». Муж, если он сам не переждёт в шалапутство, становится злейшим врагом шала-

путов. Среди таких господ преимущественно и находят веру рассказы о свальном грехе, бывающем, будто бы, на шалапутских собраниях.

Рассказы эти, обыкновенно, распространяются бывшими шалапутами. Это, большею частью, личности, или исключённые за что-либо из общины, или такие, которые приняли шалапутство в видах исключительно практической цели – получить помощь для поправки своего расстроенного хозяйства и затем бросить шалапутство и обратиться снова в православие. Обыкновенно это самые пропащие личности в нравственном отношении. Бывают, конечно, и исключения; но большинство этих обратившихся из шалапутства – народ плохой, и потому неудивительно, что они выдумывают всевозможные нелепости про своих бывших единомышленников...

– Вы упоминали о преследованиях шалапутов; скажите, вам приходилось быть очевидцем этих преследований?

– Вот что, например, мне пришлось увидеть в одной из станиц Кубанской области. Ночью станичное начальство оцепило казаками дом, где собрались шалапуты для чтения и пения. Двери были заперты, около дома поставлена сильная стража, и, таким образом, целая масса шалапутов была арестована. Всю ночь арестованные пели псалмы и свои шалапутские песни. Они ожидали чего-то ужасного и готовились «принять венец мученицкий»... На утро я получил от полкового заседателя приглашение присутствовать при увещеваниях арестованных шалапутов священником. Я, конечно, принял приглашение. Увещевания происходили в полдень после обедни. День был праздничный. Около дома, в котором были арестованы шалапуты, стояла громадная толпа народа. Мы – я, полковой заседатель и священник – едва пробрались сквозь толпу к дому. В дом мы вошли в сопровождении нескольких вооружённых казаков. Навстречу нам выступил местный вожак шалапутов со словами: «аще кто исповедует Христа во плоти, тот иди; а кто не исповедует Христа, во плоти пришедша, тот не ходи к нам!». Священник отвечал ему: «Мы и без твоей проповеди исповедуем Христа воплотившегося и приобщаемся Его пречистого тела и крови. А ты вот послушай меня, истинного и законного пастыря». Шалапут возразил: «Какой ты пастырь? Я – посланник: меня сам Господь послал проповедывать; ты меня слушай, а не я тебя слушать должен! Мы одни спасённые, а вы все окаянные!».

«А, так ты вот как! – закричал заседатель, – взять его!». Казаки схватили и увели шалапуту. Священник обратился к остальным шалапутам со словами: «Что это вы делаете, безумные? Покайтесь!» Один из шалапутов ответил: «Мы своей веры ни за что не бросим и Васе (так звали арестованного шалапуту) верим. Он имеет Свят Дух, а вы ока-янные!» Священник сказал: «Что ты понимаешь о Святом Духе? Ты вот скажи, что есть вера?». Шалапут молчал. «А что есть Бог?» «Бог, – отвечал шалапут, – есть человек, и человек есть Бог». «Богохульники и безумцы! И говорить с вами не надлежит», – произнёс в негодовании священник и повернулся уходить. Шалапут закричал ему вдогонку: «а вы все под антихристом, вся Россия у антихриста!». Заседатель приказал арестовать кричавших и ещё некоторых других и отвести их в холодную, а остальных отпустить. Арестованных встретили на улице свистки, крики, остроты. Надо правду сказать: в этой безобразной демонстрации принимали участие далеко не все собравшиеся перед домом; многие, напротив, стыдили кричавших и говорили: « что они – разбойники, что ли, или что украли?...». Арестованные были скоро выпущены на поруки, а потом и самоё следствие по этому делу было прекращено... Возьмём вот хоть эту историю. Удивительно ли, что пострадавшие шалапуты стали враждебно относиться ко всем, не входящим в состав их общины?..

– Особенно сильно ненавидят шалапуты священников. Эта ненависть почти никогда не исчезает. Иногда она выражается очень крупными фактами. Так, например, в Круглолесской станице одна шалапутка проповедывала на улице громадной толпе женщин на тему – против попов... В станице Александровской, во время ярмарки, один шалапут едва не задушил священника; понадобилось шесть казаков, чтобы разжать его пальцы... В нашей местности шалапуты держатся, впрочем, иной политики по отношению к священникам... Именно они стараются сделать из священника своей станицы пьяницу или усыпить его бдительность каким-либо другим путём, причём решительно не церемонятся в выборе средств. В нашей, например, станице они прибегли к такому манёвру: наш священник, ещё молодой человек, страстно любит жену и чрезвычайно ревнивый муж; жена отвечает ему тем же. Шалапуты шепнули попадье, что батюшка «бегаёт по бабам», а до сведения батюшке довели косвенным путём,

что матушка в интимных отношениях с одним казачьим офицером. Ревнивые супруги начали мучить друг друга; семейное спокойствие рушилось; батюшка принялся пить, дебоширить, колотить жену. Православные пришли в соблазн, шалапутство стало усиливаться, внимание священника было отвлечено в сторону семейною неурядицей... В соседней станице, та шалапутка, о которой я говорил как о покровительнице сирот, выкинула над священником штуку ещё похитрее. Она сошлась с его женою, обратила её в шалапутство и, вместе с тем, стала опаивать её водкой. Несчастливая попадья была доведена до того, что без водки не могла пробыть несколько часов. Лет пять она лежала пластом, полумёртвая. Священник, ничего не подозревавший, был в отчаяньи и совершенно не обращал внимания на то, что делалось в селе. Шалапутка так обошла его, что сделалась у него домашним человеком, и он просто не знал, чем благодарить её за её хлопоты около больной жены. Он оставлял на её попечение всё своё хозяйство, когда уезжал куда-нибудь. Во время его отлучек шалапутка устраивала в поповском доме свои собрания. Больная попадья отдавала шалапутке всё, что только можно было отдать, не возбуждая подозрений мужа. Когда попадья умерла и священник осмотрелся, он просто ужаснулся расхищению своего имущества: «десять лет, говорил он, собирал — и года всё урожайные были, а теперь ничего нет!». В это время один казак, исключённый из шалапутской общины рассказал ему всю эту историю; священник едва не убил шалапутку и с этих пор стал самым страшным врагом шалапутов... Замечательно, что шалапутка, прибегавшая к таким безобразным средствам, личность в высшей степени порядочная, даже более, самоотверженная, вся преданная делу милосердия. Личных дел у неё, решительно, нет; вечно она делает что-нибудь для других: то шьёт сиротам одежду, то собирает для бедных деньги, хлеб, овчины и др., то печёт для калек и нищих блины и т. п. По отношению же к священнику она, как и большинство шалапутов, считает все средства дозволенными. И вообще она думает, что для доброго дела не грех украсть или обмануть. Вот, например, что она делает. В станице этой три богатых торговца, вечно враждующих и старающихся «не сконфузить себя» друг перед другом. Этой-то слабостью она и пользуется. Отправляется она, положим, к Сидору Макарычу и говорит: «не пожертвуете ли вы бедным пару овец? Вот Иван Еле-

азарыч пожертвовал телушечку». А у Ивана Елеазарыча она ещё и не была. «Телушку, говоришь ты? – переспрашивает Сидор Макарыч, – и большую?» «Да, уж порядочную». «Ну, так вот что: бери ты пару овец, да ещё я велю отсыпать меры четыре муки – нужна ж, ведь, сиротам и мука. Ведь я не то что Иван Елеазарыч: дал телушку, да и шабаш; а какой прок сиротам от телушки?..». Затем шалапутка отправляется к Ивану Елеазарычу и сообщает ему о пожертвовании Сидора Макарыча. Задетый за живое Иван Елеазарыч жертвует тоже гораздо больше того, что просит шалапутка... Вообще это интересная личность, и вам не мешает с ней повидаться...

Было уже поздно, когда мы кончили разговор с Полуектовым и легли спать, решив отправиться на утро в соседнюю станицу.

VI.

Мы выехали около пяти часов утра. Несмотря на раннюю пору, везде по полям кипела работа. Полуектова все знали и приветствовали. Дорогою мы догнали мужика средних лет, судя по наружности – мелкого шабаа.

Шабай – это почти то же, что в Великороссии прасол. Он переезжает из села в село с разным мелким товаром: гребнями, тесёмками, ситцем и т. п., и, по мере распродажи своего товара, покупает сельские произведения: кожи, пряжу, холсты. Чаше он прямо меняет свой товар на сельские продукты. Такая меновая торговля ведётся шабаем обыкновенно с бабами. Ещё за месяц до какого-нибудь большого праздника – Рождества, Пасхи, Троицы, храмового праздника – бабы и девки начинают собирать яйца и потом, перед праздником, меняют их шабаю на ленты, серьги, ситец и т. п. Шабай начинает с маленького: сначала у него всего товару на пять рублей; но потом, мало-помалу, произведя ряд торговых операций, дающих ему более 100% прибыли за раз, он оставляет своё занятие, открывает в селе кабак или бакалейную лавку и начинает заводить операции по хлебной или скотской части. Бывают, впрочем, случаи, что шабай всю жизнь не оставляет своих занятий: иному разные несчастья – деньги потерял, лошадей украли – не дают возможности выкарабкаться из своего положения, а иной и сам не хочет бросать своих разъездов...

Встреченный нами шабай оказался знакомым Полуектову. Они поздоровались.

– Какой товар везёшь, дядя Гаврилыч?

Шабай подозрительно посмотрел на меня.

– Рыбку, кормилец, таранку.

– Кому ж теперь таранка нужна? Ведь теперь мясоед?

– Ну не у всякого мясоед: у иного и круглый год великий пост.

– Толкуй там! Знаем мы, какую ты рыбку везёшь.

– А хоть и знаешь, Василич, чего ж кричать об этом...

– Да ты его боишься, что ли? – спросил Полуэктов, указывая на меня, – так это мой товарищ. Я его затем и везу, чтоб он на вас посмотрел, да поговорил с вами.

– Значит, он тоже шалапут? – спросил шабай.

Я с удивлением взглянул на Полуектова; тот смеялся.

– Видите ли, меня здесь шалапутом считают – и православные, и шалапуты. Сколько я ни уверял, что я православный, а не шалапут, не верят. «Какой, говорят, ты православный: и постов не соблюдаешь, и водки не пьёшь, и с женой не ругаешься – видимое дело, шалапут».

– Вестимо, шалапут, подтвердил шабай, – только другой, не такой, то есть, как мы.

– Ну, пусть будет по-вашему. Так мой товарищ, Гаврилыч, такой же шалапут, как и я. Теперь, вот в чем дело: человек он любопытный, хочется ему всё знать, затем он и ходит и ездит всюду. Ты ему и расскажи, что ему надо. Он вот у Марьи Евграфовны был: та ему всё рассказала.

– А, так это ты у Марьи Евграфовны был? Говорила, как же... Ведь я следом за тобою у неё был... Наслышаны... добро пожаловать к нам: примем – честь честью...

– Видите ли, – обратился ко мне Полуектов, – Гаврилыч у них нечто вроде почтальона; он изъездил всю Россию и потому может много вам рассказать...

Я пересел к Гаврилычу, и мы мало-помалу разговорились с ним.

– Так вы почтальон? – спрашиваю.

– Да, вроде как бы корреспондент⁴

⁴ В нашей местности почтовые отделения существуют далеко не во всех сёлах и станицах. Общества таких сёл или станиц, где нет почтовых отделений, нанимают особых лиц, обязанности которых состоят в том, чтобы раз или два в неделю отправляться, обыкновенно пешком, в почтовое отделение, иногда вёрст за 60, и приносить оттуда адресованную в село или станицу корреспонденцию.

– Что ж, вы письма развозите?

– Да, отсюда вожу посылки в Россию, а из России сюда.

– И во многих местах вы бываете?

– Повсюду, где наши есть. А наших где нет?! Сейчас, за кавказскими горами – есть; по Тереку, по Кубани есть; в Ставропольской губернии – тоже; потом – в Крыму, в Екатеринославской губернии, в Полтавской, Киевской, Херсонской; теперь в Рязанской, Тамбовской тоже есть; слышать, что и на Урале есть.

– И вы все эти места объездили?

– Вот только на Урале не был, а то везде был.

– И много везде ваших?

– Разно: в ином месте много, а в ином только появились... Только с каждым годом везде наших всё больше и больше.

– Как же вы ездите? Не боитесь, что вас заберёт где-нибудь полиция?

– А зачем она меня заберёт? Я при пачпорте. Да и почём кто узнает? ведь это я вам так рассказываю, потому мы за хороших людей вас считаем... А другой и не догадается, кто я: едет шабай, товар продаёт, либо рыбу везёт, – кто же его знает, что он за человек такой...

– И много у ваших таких корреспондентов, как вы?

– Да разно бывает: коли нужно, так много рассылают, а то я и один управляюсь. У расейских, у тех свои есть корреспонденты.

– Что же вы именно возите, – одни письма?

– И письма, и книги, и стишки списанные – разно: кто что пошлёт. Иной раз и деньги вожу.

– Отчего ж деньги по почте не посылаются?

– Да иной раз по почте нельзя. К примеру сказать, мы обществом посылаем деньги в Рассею, на помощь тамошним, где победнее живут. Получит по почте мужик, например, пятьсот рублей, сейчас и начнётся: откуда? как? кто?... А я свезу – никто и не узнает.

– Что ж, у вас постоянно посылаются деньги на помощь-то, или когда случится нужда?

– Посылаются постоянно, да ещё, когда случится э к с т р а, особо посылается...

– И вы отвозите деньги всегда в одно место или в разные?

– В одно, в Тамбовскую губернию.

- А в уезд какой?
- Там уж это знают...
- А кому сдаёте деньги?
- Там уж есть такие...

Шалапут, несмотря на выраженное им уверение в том, что он питает ко мне доверие, не решался рассказывать мне всего. Воцарилось молчание. Через несколько минут мой собеседник снова заговорил каким-то сконфуженным тоном:

- Да, всюду много наших, и всё больше становится...
- Отчего ж это к вам так много народу переходит?
- А оттого, что у нас правда, а правда всегда берёт верх. Разве народ не видит, что мир во зле лежит и одни наши хорошо живут... Нужды нет, что нас меньше, чем православных. Вот море-то большое, а река малая: а где слаже вода? Так и тут...

– А скажите, кто к вам чаще переходит: такие ли люди, которые и прежде хорошо жили, или такие, которые прежде дурно жили?

– Пьяницы всё больше к нам переходят... Ведь он, пьяница-то, отчего пьёт? Верно не от хорошей жизни. А тут он увидит, что можно хорошо жить, ну и перестанет пить... Ну, и произволение Божье что-нибудь да значит: то пил человек, а то вдруг и капли в рот не берёт...

– Однако ведь не все, кто переходит к вам, перестают пить?

– Всячески бывает: иной крепится, крепится, да старое-то в нём проснётся – глядишь, и пьян... Только это редко бывает.

– Что ж с такими вы делаете? Гоните от себя?

– Бывает так, что и гоним... Только, по-моему, это грех, гнать-то: разве он по своей воле напивается? Значит, бес действует. Потому, другой и сам не хочет, да пьётся: за что ж его гнать?..

В это время Полуектов закричал нам:

– А что Гаврилыч, не пора ли нам остановиться? Надо лошадям отдохнуть. Да и ваши вон недалеко работают.

– Остановимся, потому лошадей надо жалеть...

Телеги были распряжены, и лошади пущены на траву. Гаврилыч пошёл к находившемуся недалеко табору, а мы с Полуектовым сели под телегу и начали закусывать.

– Показал бы я вам здесь кое-каких шалапутов, да теперь с ними не

разговоришься: теперь они спят после обеда, а потом работать станут – некогда.

– Отчего это у них такой большой табор?

– А оттого, что они вместе работают. Вы этого ещё не знаете? Так я вам всё это подробно расскажу. Станица, в которую мы едем, очень типична в этом отношении: здесь вы встретите полное приложение шалапутских принципов. В других местах наблюдаются подобные явления, но в очень ограниченных размерах...

– В этой станице около сорока шалапутских семейств. Расселились они в пяти местах, по концам станицы. Каждый конец составляет отдельную общину. Между дворами отдельных семейств общины уничтожаются изгороди и заборы, так что у каждой общины получается один громадный двор. Общинность не распространяется только на предметы личного потребления – одежду, домашнюю утварь и т. п. Всё остальное общее. Особый дом имеет не каждая семья; в некоторых домах живут по две и по три семьи. У таких семей является общим решительно всё, за исключением носимой одежды, которая составляет личную собственность отдельных лиц. Все общины составляют один экономический союз: полевое хозяйство ведётся всеми общинами сообща. Для этого шалапуты выбирают участок земли, отстоящий возможно далее от станицы, чтобы вести дело без постороннего наблюдения. Участок они разделяют межниками на загоны, как будто каждый загон обрабатывается отдельным семейством. В действительности же все работы, начиная с пахоты и кончая молотью, производятся сообща. Полученное зерно делится на четыре части: семена для будущего посева, запас на случай неурожая, хлеб на продовольствие и на продажу. Хлеб, назначенный на продовольствие, распределяется между общинами по числу едоков. Деньги, вырученные от продажи хлеба, делятся на три части. Одна часть, конечно, самая большая, распределяется между общинами, сообразно с их нуждами и предстоящими им расходами. Так, например, если у какой-нибудь общины пал скот или нужно произвести новые постройки, то такой общине дают больше, чем той, которой предстоит производить только обыкновенные расходы. Другая часть денег, вырученных от продажи хлеба, отправляется в общую шалапутскую кассу целой области; наконец, третья часть идёт в Тамбовскую губернию.

– А что такое у них в Тамбовской губернии?

– Этого я не знаю. Можно догадаться, что там существует центральная, общешалапутская касса, но это только предположение... Так вот как поставлены экономические отношения у шалапутов соседней станицы. По правде сказать, я не знаю, чтобы ещё где-нибудь дело велось таким образом. Есть нечто подобное ещё в трёх станицах, недалеко от Екатеринодара; но подробностей тамошних общин я не знаю. В других же местах, где мне приходилось бывать, шалапутам ещё очень далеко до стройной организации...

В это время подошёл Гаврилыч и предложил ехать. Мы запрягли лошадей и отправились.

VII.

В станицу мы приехали очень поздно. Ночевать остановились у Гаврилыча. Утром я вышел на двор и начал рассматривать постройки. Двор был устроен совершенно иначе, чем обыкновенно устраиваются дворы казаков. Двор был обнесён высоким плотным плетнём, делавшим совершенно невозможным наблюдение с улицы происходившего внутри двора. Изба выходила не на улицу, а таилась в глубине двора, закрытая с трёх сторон постройками – сараем, конюшней и закутой. Открытая сторона избы выходила в сторону двора, оканчивающегося довольно большим садом. Пройти с улицы во двор незаметно для хозяев было решительно невозможно, потому что в разных местах были привязаны три большие собаки, которые не давали никому прохода и страшным лаем предупреждали хозяина о приближающемся госте.

Из избы вышел Гаврилыч.

– Что, рассматриваешь моё жильё?

– Да, Гаврилыч. Только мне говорили, что вы живёте большими дворами, по несколько семей на одном дворе, а вы вот один живёте?

– Это верно, кормилец: наши живут все вместе, один я тут остался... Никак не найду никого из православных возле наших, чтоб помянуться со мной двором: и придачи дал бы, так вот – не хочет никто. Теперь, правда, находится один: если сойдёмся, переберусь к своим... А то тут тоска, одному-то. Хорошо ещё, что я постоянно в поездках... Ну, теперь пойдём чай пить...

За чаем Полуектов начал расспрашивать Гаврилыча о его поездке в Россию.

– Ну что, Гаврилыч, видел Порфирия Петровича?

– Нет, кормилец, горе нам великое: забрали нашего батюшку да посадили в острог... Ехал я, да говорю об этом всюду, – так плачут... Что-то с нами будет? Осиротели мы теперь... А с ним-то, батюшкой, что будет?..

Крупные слёзы покатались по щекам Гаврилыча.

– А кто этот Порфирий Петрович? – спросил я вполголоса Полуектова.

– Это один из самых первых учителей шалапутства; его можно считать насадителем шалапутства на Кавказе. Все шалапуты чрезвычайно уважают его. У них в ходу и в большом уважении его фотографические карточки. Карточки эти они показывают только верным людям, от кого не ожидают никакого подвоха. Так, например, они никогда не показывают карточек вступающему в секту, пока он не присоединится к ней окончательно. Мне показывали эту карточку, да и вам покажут, – но это только здесь, где о нас составили известное представление; в других же местах ни за что не согласятся показать вам её. Надо вам сказать, что эта карточка во многих местах ставится шалапутами на столе во время собраний, точь-в-точь как у нас, в Питере, помню, становился на стол во время «общих чтений» бюст или портрет кого-либо из наших учителей. Вот это скрывание шалапутами портрета Порфирия Петровича и постановка его во время собраний на столе и дали основание легенде, которая усердно распространяется недоброжелателями шалапутов: Порфирий Петрович, говорят они, у шалапутов является живым богом, а портреты его заменяют иконы...

Полуектов говорил шёпотом. Гаврилыч всё время сидел опустивши голову и выводя по столу пальцем какие-то узоры. Когда Полуектов кончил, наступила на несколько минут тишина. Наконец Гаврилыч тяжело вздохнул, оправился и обратился к нам:

– Во что, други, мои милые! Я пойду сейчас к Петровне: ехать она собирается к нашему батюшке. Может, и вы пошли бы со мною?

– А ей, Гаврилыч, пожалуй, теперь не до нас? – спросил Полуектов.

– Что ты, Василич! Попрощаться всё ж надо...

Мы отправились. Недалеко от дама Гаврилыча мы натолкнулись на

чрезвычайно странную сцену.

По середине улицы шёл пьяный казак. Он был одет в новый чекмень, новые сапоги, новую шапку; но вся его одежда была в грязи: очевидно, он валялся в луже. Он что-то пел и кричал. Вокруг него шло человек пять бледных, серьёзных казаков: они пели какую-то песнь и своим пением заглушали крики пьяного казака.

Мы с Полуектовым невольно остановились и смотрели на эту странную процессию. Но Гаврилыч сердито проговорил: «пойдёмте! чего уж тут смотреть» и свернул в первый проулок. «Что это такое?» – поинтересовались мы. Гаврилыч не отвечал ничего и быстро шёл. Наконец, пройдя две улицы, он не выдержал.

– Вот они, грехи-то!..

– Да что ж это такое, Гаврилыч?

– Разве ты, Василич, не слышал?.. Как же, выбрали вот атамана на свою шею... Давай, говорим, выберем своего атамана. Ну, и православные видят, что наш парень точно хорош: и грамотей, и насчёт ума, и тверёзовый... Выбрали. А он стал пить: нельзя, говорит, по моему положению без водки, – например, с окружным... Стал сквернослов, безобразник... Напьётся – сейчас одежду рвать, в грязи валяться – срамота!.. Ну, дадим ему на другой день новую одежду, чтоб не срамил, а он опять своё... Научился скверным песням: идёт пьяный – поёт, ругается... Ну, православные и смеются: святые люди, говорят, а без водки, верно, обойтись не могут... Вот наши и караулят его: напьётся он да начнёт петь или ругаться, а они себе петь – его и не слышно...

Мы пришли к одному из шалапутских «концов». Действительно, изгородей между дворами не было, и все дворы составляли один, громадный как площадь, двор. Число дворов, вошедших с состав большого двора, можно было определить только по числу ворот, выходивших на улицу. Изба, к которой мы подошли, резко отличалась от других шалапутских изб своею бедностью: это была старая, накренившаяся на бок хатёнка. Хозяйка, Дарья Петровна, та самая шалапутка, о которой говорил мне Полуектов, встретила нас осень радушно. Оказалось, что Гаврилыч был у неё уже вчера и сообщил о нашем приезде. В избе был страшный беспорядок.

– Так собираешься? – проговорил Гаврилыч.

– Да как же, Гаврилыч, нужно: может, я его, батюшку нашего, как ни

на есть, выручу... Видишь: укладываюсь... Не то так хоть посмотрю его: шутка ли, десять лет не видала...

– А нас как же ты оставляешь?

– А ты-то на что? Разве ты не справишься?.. Эх, Гаврилыч, стыдно, а ещё казак... Ты вот не забудь только, что я тебе скажу...

И Дарья Петровна стала передавать Гаврилычу, что нужно сделать в её отсутствие. Между прочим, меня заинтересовало одно поручение, которое дала Дарья Петровна Гаврилычу, – «купить сироткам крестики». Когда Дарья Петровна окончила деловой разговор с Гаврилычем и вышла зачем-то из избы, я спросил Гаврилыча:

– Зачем это она поручает вам купить сиротам крестики? Разве она верит в крест?

– Да вишь, ведь, сироты-то не наши, а православные... Да и в школу осенью начнут ходить: там спросят кресты...

Вошла Дарья Петровна и обратилась к нам:

– Ну, мои миленькие, не придётся, верно, нам с вами поговорить по душеньке; а хотелось бы... да только время теперь не такое: сейчас на собрание, а потом и ехать... Ну, да, может ещё свидимся как ни на есть... А тебе, Василич, – обратилась она к Полуектову, – я отпишу; а то ты всё не веришь, что у нас в России тоже есть – хорошо живут... А теперь, други мои, простите!..

– Отчего ж ты, Петровна, не хочешь нас пустить на собрание?

– Ах, Василич! Да я душой рада. Только, видишь, ведь это я прощаться с нашими буду... Мне-то ничего, а вот им как бы не того...

– Нам бы только песни ваши послушать; ведь товарищу моему это в новинку...

– Ну, как же, Гаврилыч, быть мне с ними?

– Да пустим их в светёлку, что сбоку: их-то не будет видно, а им всё слышать...

Собрание происходило в соседней избе. Нас посадили в маленькую комнатку, соседнюю с той, в которой собрались шалапуты. Нам, действительно, всё было прекрасно слышно. Через несколько минут после того, как мы пришли, в соседней комнате запели:

«Нельзя пети,
Нельзя распевати:
Стоят кругом тати,
Хотят нас поймати
И сад подкопати,

Ветки поломати
Цветочки порвати».

Тяжёлое впечатление производила эта песня. У нас, посторонних людей, навёртывались на глазах слёзы. Шалапуты же рыдали. Последние два стиха были не пропеты, а проплаканы...

Несколько минут длилось молчание; только изредка слышались отдельные вопли, всхлипывания, вздохи да слова: «Боже», «Христе», «Не погуби нас».

Затем опять началось пение, тихое, грустное, хватающее за сердце:

«Ныне, ныне я печален,
Ныне радости отверг.
Остаюся безотраден,
Провожая дни в скорбях.
Беспрестанно воздыхаю,
Токи слёзны лью из глаз,
Крепко в перси ударяю,
Возношу к Творцу свой глас:
Ты услышь моё моление,
Боже мой, небесный царь!
На моё призри смирение,
Укрепи бессильну тварь!»

После этой песни опять наступило молчание. Вдруг совершенно неожиданно раздался звучный, сильный голос Дарьи Петровны:

«Что вы, братцы мои милые,
Опустили свои крылья?»

Словно электрический ток пробежал по собранию. Все подхватили:

«Души в теле приробели,
Чувства пали, онемели,
Всё затмилось,
Мысли ваши прекратились...
Вот вам от батюшки помога:
Часта в ваших сердцах тревога –
В небушко дорога.
У него есть хлеба много.
Полно, братцы, нам крушиться!»

Перестанем тосковать!
Лучше будем веселиться,
В корабле сем утвердиться.
В корабле, други, радуйте.
А сердцами не хладейте!
Ризы белы не марайте
И душами не хворайте.
Бейте тело, не жалейте,
Из сосуда вон не лейте.
Чистоту в теле имейте,
А Святому Духу верьте.
Нам злата труба трубит!
Скоро батюшка к нам будет»

После того была пропета ещё песня:

«Кто жизнь ведёт прямо,
Тому с неба дастся знамя.
Кто себя ведёт здесь низко,
У престола будет близко:
Будет видеть судью Спаса,
Херувимского сладкого гласа».

Затем все стали прощаться с Дарьей Петровной. Но не было уже ни слёз, ни плача. Все говорили твердо, уверенно. Давались поручения; слышались пожелания счастливого пути и успеха; раздавались просьбы детей: «приезжай, тётушка, скорей!..». Наконец, все вышли, и мы увидели из окна, как Дарья Петровна села в телегу и выехала за село в сопровождении большой толпы народа...

Возвращаясь к Гаврилычу, я перебрал в своей памяти всё, что видел и слышал за последние десять дней; многое мне показалось интересным, и из него кое-что теперь я набросал на бумагу.



Мещанский мыслитель.

(Сектант Григорий Петрович).

I.

Я познакомился с Григорием Петровичем совершенно случайно. Раз как-то, шляясь по ярмарке родного города, я услышал страшный шум и рёв, из которого явственно выдавались слова: «лови» и «бей»! Я бросился в ту сторону, откуда раздавались крики, и увидел следующую сцену. В изорванной холстинной рубахе, таких же портах и в поршнях, без шапки, с дубинкой в руке, бежал мужик и страшно кричал: «сторонись, убью!». За ним, с рёвом, гамом и каким-то нечеловеческим гоготаньем, бежала громадная толпа. Преследуемый с неестественною быстротою и ловкостью перепрыгивал через встречающиеся ему препятствия – оглобли телег, кучи всякого товара, лежащих быков, ловко увёртывался от преследовавших его, разгонял свою дубиную, своим криком и своим страшным видом тех, кто становился ему на дороге, и неся вперёд. Однако, видимо, он начинал уставать: крик его становился всё слабее, бежал он медленнее, грудь тяжело поднималась. А число преследователей всё увеличивалось: всякий, мимо кого проносилась толпа, считал своею обязанностью присоединиться к ней и принять участие в общем крике. Многие бросали брёвна под ноги преследуемому мужику; другие

хватали его за куски изорванной рубахи. Наконец, какой-то мещанин хитрился кубарем подкатиться под ноги преследуемого и таким образом свалил его на землю.

Тогда началось побоище. Упавшего били решительно все, били чем попало – кулаками, кнотовилами, дрючками; били не на живот, а на смерть. Слышны были только тяжеловесные удары, сыпавшиеся со всех сторон несчастному на голову, грудь и живот, да крики: «так его, не воруй!». Несчастный сперва кричал, потом только стонал, наконец совсем смолк. А удары всё сыпались. Какое-то зверское озлобление охватило всех присутствовавших, и всякий старался нанести побольше ударов, да ударить посильнее. Просто жутко становилось смотреть на это зверство. Мои усилия остановить расходившуюся толпу не привели ни к чему. На мои уговоры и просьбы оставить несчастному хоть жизнь, мне отвечали:

– А он не воруй!..

– Ничего, не сдохнет!..

– Не мешайся, барин, это не твоё дело, – это у нас свой суд... Не в полицию же его тащить: там вора́м потачку дают...

Как на грех, нигде не было видно ни одного полицейского; не было даже ни одного военного мундира, который мог бы утратить толпу и остановить её свирепость. Я уже отчаялся в спасении мужика и хотел уйти от страшной сцены, как вдруг раздался чей-то взволнованный голос:

– Братцы, да он, может, с голоду украл!

Разом опустились поднятые руки, палки и дрючки. Бойня прекратилась. Все заговорили:

– Может, и в правду... Голод-то не тётка...

– Ну, да и то сказать: проучили, и будет; не убивать же его из-за голенищ...

Мало-помалу толпа разошлась. На месте происшествия остались только я, откуда-то взявшаяся баба, которая тоненьким голосом заголосила на всю ярмарку, и молодой человек, по-видимому мастеровой, вмешательство которого остановило бойню.

Мы подняли избитого. Всё тело его было покрыто синяками и запекшеюся кровью. На лицо было страшно взглянуть. От рубахи и портов остались одни клочки.

Мне казалось, что он лишился всех сил. Однако он через несколько минут оправился и медленной походкою, шатаясь как пьяный, пошёл в глубь ярмарки. Баба, голая и причитая, пошла за ним: она была из одной деревни с ним.

Мы остались вдвоём с мастеровым. Я внимательно осмотрел своего соседа. Это был человек лет двадцати с небольшим, бледный, с задумчивым выражением лица. Одет он был в длиннополый мещанский сюртук, глухой жилет и брюки «на выпуск». На голове у него был традиционный тяжеловесный мещанский картуз, одинаково пригодный летом и зимою.

Находясь ещё под влиянием только что кончившейся сцены битья, я обратился к мастеровому со словами:

– А ведь они убили бы его, если б вы не подоспели...

– Да разве это люди? Это – идолы, какие-то оголтелые истуканы... За голенищу человека жизни лишают!... Сказано: не осуждай, да не осуждён будешь; а иной раз, право, нельзя и удержаться от осуждения. Только и удерживает притча о сучке в чужом глазу и о бревне в своём... Да, хитрое это дело: у одного есть нечего – он и крадёт голенищу, а у другого только и есть что голенища – поневоле будешь драться: кого ж судить? кто виноват?

Он начал со злобою, а кончил с тихой грустью.

Меня крайне заинтересовали слова моего собеседника, и мне очень захотелось узнать, что это за человек. Видя, что он собирается уходить, я схватился за первую пришедшую мне в голову мысль.

– Знаете что, не согласитесь ли вы зайти со мною в трактирчик и выпить по стакану чаю? – предложил я.

Он сперва удивился неожиданному приглашению, но потом согласился.

За чаем мы прежде всего отрекомендовались друг другу. Его, оказалось, зовут Григорий Петрович Востряков. По профессии он – столяр; живёт по найму у подрядчика, занимающегося преимущественно постройкой церквей. У хозяина живут до пятидесяти мастеровых – столяров, плотников, кровельщиков, иконописцев и других.

Григорий Петрович оказался очень разговорчивым человеком, и после нескольких вопросов с моей стороны откровенно рассказал мне свою биографию. К такой откровенности, по его словам, его побу-

дило то, что «уж очень много накопело у него на сердце, так что через край хватает» и что ему «давно хочется поговорить с кем-нибудь по душе». Биографию Григория Петровича читатель и найдёт на следующих страницах.

II.

Детство и отрочество Григория Петровича ничем не отличалось от детства и отрочества тысячи лиц, находившихся в одном положении с ним. Сперва он был отдан своим отцом, отставным солдатом и по профессии ямщиком, «в мальчики» к бакалейному торговцу. Потом, когда он, вследствие своей неповоротливости, оказался негодным для торговой деятельности, он попал «в науку» к столярному мастеру. Здесь первые два года он только бегал на посылках: ходил на базар за провизией, аккуратно два раза в день ходил в кабак за водкой для хозяина, подметал полы, топил печи и вообще исполнял разные мелкие поручения. Этот двухлетний период жизни был самым тяжёлым временем для мальчика. Он был каким-то общим рабом, которого имела право посылать куда угодно и заваливать всякого рода работой целая масса лиц: столяр-хозяин, члены его многочисленной семьи, его рабочие, подмастерья, наконец его кухарка. Он исполнял обязанности лакея, горничной, дроворуба, водовоза, кучера, помощника кухарки и многих других. И при исполнении всех этих обязанностей от него требовались аккуратность и умение сделать всё как следует. А наградой за все труды и старания служили брань и побои. Его не ругал и не бил только тот, кому было лень или недосуг. Всякий же, кому приходила охота и у кого было для того свободное время, мог, сколько ему было угодно, «чесать» свой язык над мальчиком и расправлять над ним свои мускулы. Его били кулаками, колотили «струментом», секли плетью о пяти ремнях с узелками на конце («пятихвостка»), драли за уши, вырывали волоса. Удивительно, как он остался жив, так как жизнь его была настоящею каторгою.

Неизгладимые следы оставили в душе Гриши первые два года «ученья» или, вернее, колоченья. Детская живость, развязность, откровенность исчезли. Он ушёл в себя, затворился в самом себе и избегал, по мере возможности, людей. Глядел он постоянно исподлобья, за что

и был прозван «волчонком». Детская мягкость характера заменилась в нём упрямством и злостью. Он страшно ненавидел своих мучителей и постоянно мстил им, чем мог: портил работу, марал краскою распи- санный под орех комод, царапал отполированный стол, ломал неж- ные украшения рамок и т. п., бил стёкла в окнах хозяйской квартиры, мазал какой-нибудь гадостью платье хозяина или подмастерьев и т. д. За всякой такой его проделкой следовала, конечно, кулачная рас- права или порка «пятихвосткою». Но Гриша не унимался, мало-пома- лу он научился так ловко устраивать свои проказы, что его никак не могли уличить в них, и если его, тем не менее, пороли всякий раз, то единственно потому, что, по общему мнению, сделать данную проказу «больше было некому».

Не раз Гриша пробовал бегать от хозяина. Собственно определённой цели побеги его не имели. Семья его была далеко от того города, где он страдал, и он не имел ни малейшего понятия о том, как добрат- ся до неё; притом он по горькому опыту знал, что в семье его ждёт та же порка, после которой он будет опять возвращён к тому же хозяину или отдан к какому-нибудь другому. Родных и знакомых в городе у него не было. Поэтому, если он бегал от хозяина, то с единственной целью несколько отдохнуть от брани и колотушек. Обыкновенно, по- бродив два дня по городу и съев украденный у хозяина хлеб, он снова возвращался в мастерскую, где и водворялся после усиленной порки.

На третий год пребывания Гриши в «науке», хозяин начал «приу- чать» его к столярному делу. «Приучивание» шло самым нелепым образом: первые полгода Грише давали одно занятие – тереть «пес- чанкой» (бумага, на которую наклеен песок) предназначавшейся к полировке вещи; на второе полугодие ему дали другое занятие – дол- бить и сверлить. Так же медленно тянулось обучение Гриши и прочим частям столярного дела: пилке, стружке, клейке, полировке и т. д. Не раз Гриша порывался опередить своего учителя-хозяина и самоволь- но начинал такие работы, которые ему хозяин ещё не «показывал»; но эти порывы Гриши охлаждались бранью хозяина или подмастерьев, отбиранием инструмента и колотушками.

Вообще, побои практиковались по отношению к Грише в прежних размерах. Разница состояла только в том, что теперь побои наноси- лись ему почти исключительно различными столярными инструмен-

тами, как предметами, постоянно находившимися под руками у тех, кому хотелось бить Гришу. В этом отношении, стало быть, жизнь Гриши представляла мало утешительных перемен. Но зато в другом отношении жизнь его очень изменилась, и притом в хорошую сторону: дело в том, что теперь он был почти совершенно избавлен от всяких работ помимо мастерской, и потому, по окончании обязательных столярных работ, он имел теперь свободное время. В это то свободное время он и начал думать.

Думы Гриши, естественно, сперва остановились на нём самом и его тяжёлом положении. Он невольно сравнивал свое положение с положением хозяйского сына, Вани, любимого и балуемого отцом и матерью. Отчего его никто не любит, так, как любят Ваню его родные? Отчего его бьют, тогда как Ваню никто пальцем не трогает. Часто, страшно измучившись после шести и семичасового беспрерывного трения «песчанкою» какого-нибудь гардероба или комода, или до страшной боли в ручных мускулах намахавшись пилою, едва волоча свои ноги, затёкшие кровью от продолжительного стояния, и с трудом разминая измученные, повисшие как плети руки, он пробирался в глухой угол хозяйского сада и там «напрямки» ставил перед собою вопрос: отчего это он должен нести такую муку непосильного труда, тогда как его сверстник, Ваня, может в то же время беззаботно предаваться играм?

Грише было около пятнадцати лет, когда ему впервые пришёл в голову последний вопрос. Он тщетно ломал голову над его решением, тщетно искал в свое короткой жизни, которая оправдывала бы такое тяжёлое положение, к которому он находился. Он сравнивал себя с окружающими и нисколько не находил себя хуже их. За что же он страдает?.. И, не находя ответа, Гриша впадал в безнадежно-отчаянное состояние, становился апатичным ко всему, и только, уходя по вечерам в сад, он отводил душу в страшных рыданиях.

Не раз в такие минуты отчаяния Гриша думал о самоубийстве. Он с любовью останавливался на этой мысли и подробно развивал её. Единственный способ самоубийства, который он мог себе представить, было повешение, и притом непременно в саду. Вот он стащит из конюшни толстую бечеву, которая висит там на стене, сделает на ней петлю, потом взлезет на самую вершину вот этой дули или – лучше –

вот этой яблони и привяжет к ветке другой конец бечевы. Затем останется надеть петлю на шею и из всей силы прыгнуть с дерева: тело закружится, несколько раз подпрыгнет, как подпрыгивают и крутятся кули с мукой, поднимаемые на канатах во второй этаж провиантского магазина, – и затем всё кончено... На другой день его хватятся: «где Гришка, где он, такая-сякая каналья?». Нет Гришки, нет канальи. Кто-то вам будет теперь инструмент точить?.. Начинаются поиски. «Убежал беспутный мальчишка!..». Наконец, кто-нибудь приходит в сад и видит труп Гриши, раскачиваемый ветром. Увидавший закричит, непременно закричит («ага, испугался!») и убежит на двор. Являются все: хозяин, его жена, Ваня, его сёстры, подмастерья и даже другой «ученик» – Колька, мальчик лет десяти... «А хозяйка-то испугается: она на сносях», – злорадствует Гриша. «А хозяину возни со мной много будет: в одну полицию сколько придётся денег переплатить – страсть!..»

Но молодость брала своё. Мысли о самоубийстве приходили только по временам, в наиболее тяжёлые минуты. В остальное время, напротив, хотелось жить, хотелось изведать то, что доселе было доступно Ване: хотелось любить и быть любимым. Страстная жажда любви и ласки охватила в это время существо Гриши. Не встречая любви ни в ком из окружающих и не любя в свою очередь никого, Гриша привязывался не раз к животным – к собакам и кошкам. По целым часам возился он со своими любимцами: бегал с ними «на перегонки», позволял им прыгать через себя, украшал их лентами и тряпками и т. п. И животные любили его: завидев его издалека, они весело бежали к нему навстречу, прыгали вокруг него, радостно лаяли или мяукали. Но привязанность животных не могла удовлетворить Гришу: ему нужно было пред кем-нибудь излить своё горе, с кем-нибудь поделиться своими тяжёлыми мыслями, а такого человека, с которым он мог бы быть откровенен, у него не было. Он был один, постоянно один. Страшная тоска щемила его сердце – и он нередко проводил целые часы в саду, уткнув лицо в землю и сдавливая судорожно поднимавшуюся от рыданий грудь.

В этом положении застал его однажды новый квартирант хозяина, гимназист седьмого класса Ворохов.

Ворохов был самый обыкновенный гимназист: он с грехом попо-

лам «зубрил» гимназическую мудрость, кое-как исполнял требования гимназической дисциплины и успешно обманывал учителей и начальство. Никакими особенными качествами – ни дурными, ни хорошими – он не отличался. Поэтому, если встреча с ним Гриши имела, как увидит читатель ниже, громадное влияние на развитие последнего, то это произошло решительно помимо воли гимназиста, единственно в силу резкого различия их положений.

Гуляя по саду в первый же раз по переезде на квартиру к столяру, Ворохов услышал в углу сада, за кустом кружевника, сдержанные рыдания. Он поспешил на звуки и увидел Гришу, лежащего вниз лицом. Он подсел к плачущему и начал ласково утешать его. Гриша сначала оторопел; ему было крайне стыдно, что его застал в слезах незнакомый человек, – он вытер глаза, насупился и хотел уходить. Но ласковые слова гимназиста взяли верх над Гришей, и через минуту он, рыдая сильнее прежнего, захлёбываясь от слёз и едва успевая выговаривать слова, рассказывал Ворохову про своё горе, свои страдания, свою тоску.

Гимназист слушал эту скорбную, страстную исповедь Гриши и решительно недоумевал, как помочь этому страдающему мальчику. Когда Гриша кончил, воцарилось долгое молчание. Гимназист грыз ногти и всё думал: «что же сделать, что сделать?». Наконец, он неожиданно произнёс:

– Хочешь, я буду учить тебя читать и писать?

Гриша сначала крайне изумился: не того он ожидал и не то ему нужно было в данную минуту. Но мысль научиться грамоте очень улыбнулась ему. В мастерской грамотным был только один подмастерье, и Гриша видел, как возвышала его грамотность над остальным составом мастерской: к нему обращался хозяин, когда последнему нужно было сводить счёты или писать какие-нибудь условия и расписки; к нему же обращались товарищи-подмастерья, когда им нужно было написать или прочесть письма; он же наполнял досуги зимних длинных вечеров, читая вслух какие-нибудь «страшные» рассказы или рассказывая прочитанное. И за всё это он пользовался многими льготами по мастерской, и благодарные товарищи исполняли многие работы за него. Была и другая причина, заставлявшая Гришу сильно жаждать грамоте. Раз в церкви он слышал проповедь священника; витиевато

составленная, она, конечно, была совершенно непонятна для Гриши, – но конец её он понял отлично. Священник закончил проповедь призывительно следующими словами: «Итак, читайте Евангелие: в нём вы найдёте утешение в горе и разъяснение того, чего вы не понимаете». Эти слова глубоко запали в душу Гриши, и он не раз мечтал о том, чтобы узнать, что такое написано в этом Евангелии, обладающем такую чудодейственную силою. К этому присоединилось ещё одно обстоятельство.

На одном дворе с мастерской жила старуха-портниха, считаемая всем околотком за святую. Это была женщина суровой наружности и строгого, аскетического образа жизни. Она пользовалась необыкновенным уважением за свой ум и житейскую опытность: каждый вечер к ней приходила масса народа за разными советами. Тут была жена, нелюбимая мужем, и муж, у которого жена распутничала; сюда шли родители, оскорблённые детьми, и дети, страдающие от несправедливости родителей. Всех портниха наделяла советами, всех умела утешить; она мирила мужей с жёнами и улаживала дурные отношения родителей и детей. Недовольные ею – были и такие – иронически называли её «мировым судьёю», – и это название могло быть дано ей без всякой иронии. Свой дар – быть общею примирительницей – портниха получила, по мнению всего околотка, от чтения библии. И действительно, она каждое утро посвящала около часа чтению библии. Гриша не раз видел эту седовласую портниху, сидящую в очках под окном и читающую громадную – в аршин длины – старопечатную библию в деревянном переплёте. И ему чрезвычайно хотелось прочитать эту библию, чтоб сделаться таким же умным, как старуха-портниха, и пользоваться таким же всеобщим уважением и любовью. Всё это вспомнилось Грише теперь, когда Ворохов предложил ему учиться грамоте, и он с радостью согласился на предложение.

Учитель и ученик принялись за дело с рвением. Каждый вечер Гриша приходил к гимназисту, и они садились за чтение и письмо. Но, несмотря на старания учителя и прилежание ученика, дело подвигалось вперёд весьма туго. В чтении они ещё делали кое-какие успехи, но письмо совсем хромало: толстые пальцы Гриши, привыкшие к сильному механическому труду, положительно отказывались выводить тонкие очертания букв. Через полгода усидчивых занятий Гриша едва

мог читать почти по складам и выводить какие-то странные иероглифы, долженствовавшие обозначать буквы.

Рядом с обучением чтению и письму, Ворохов занимался «развитием» своего ученика. Для этого он читал ему наших беллетристов, преимущественно из числа писавших о народе. Чтение это производило громадное влияние на впечатлительную и изболевшую душу Гриши. Здесь в первый раз представилась ему возможность объективно отнестись к людским страданиям, которые он доселе испытывал только субъективно, на собственной шкуре. Результаты этой перемены точки зрения на горе получились громадные. Однажды, когда Ворохов читал «Подлиповцев», Гриша невольно воскликнул:

– Что же это такое, Господи! Да неужто везде жить так скверно, как у нас?

– А ты думал как? – ответил Ворохов. – В других-то местах люди живут ещё хуже тебя.

– Ещё хуже? – волновался Гриша.

– Хуже, куда хуже. Ты хоть сыт, а в других местах людям и поесть вволю никогда не приходится... Да вот, дослушай до конца...

С этого момента начался новый фазис развития Гришиного миро-созерцания. Он начал внимательно всматриваться в жизнь окружающих его людей и везде подмечал скрытое горе, прячущиеся муки, везде видел несчастье, нужду и страдания. Вот, например, один из подмастерьев, Яковлевич. Он получает большое жалование – двадцать рублей на хозяйском содержании; он занимает самое видное положение в мастерской, ему все завидуют. Но что такое его жизнь как не бесконечная, безрезультатная, бессмысленная мука? У него нет ни детей, ни жены, ни родных. Он вечно одинок: нет у него ни друзей, ни близких приятелей. Всё свободное время он проводит в пьянстве. Он пьёт с каким-то ожесточением. Целые дни он молча и сосредоточенно работает и работает так, что все любят на его изделия; а вечером он так же молча напивается. В праздники он пьёт целый день, пока не свалится где-нибудь в канаву. Пьяный, он начинает разговаривать сам с собою и вспоминать об умерших жене и сыне; в такие минуты он плачет, проклиная и винит себя в их смерти. Больно смотреть тогда на этого несчастного человека... И ему ещё завидуют!..

Или хотя бы взять самого хозяина. Он работает сам целые дни; об-

манывает и обсчитывает при расчете своих подмастерьев; надувает всячески заказчиков. Он сколотил малую толику деньжат, имеет дом и сад. Но разве он не несчастный человек? Он вечно грызётся с женой; его дочери пользуются самою дурною славой в околотке; его любимый сын вышел балбесом, не умеющим делать ничего, кроме того, как гонять волчки да пускать змея. Нет, несчастье заставляет хозяина предаваться по целым месяцам запою, недовольство своею судьбою гонит его из семьи и побуждает иногда до поздней ночи играть в карты с подмастерьями.

Или взять всю мастерскую. Как часто в ней происходят всеобщие драки, так себе, без всякой причины. Скажет один: «ну!», а другой сейчас обижается: «чего – ну? Ты не очень-то нукай!».

– А ты не мешайся, пока не спрашивают; а то живо загвоздку получишь...

– От кого? Не от тебя ли? Ах ты косорылая свинья! Поди сперва рожу-то выпрями!..

– А, так ты вот как!.. Так вот же тебе!..

Бац в ухо; тот – сдачи, и пошла потеха. В драку вмешиваются другие – и через минуту вся мастерская усердно тузит друг друга, чем попало: рубанком, шершебнем, коловоротом, доской. Прибегает хозяин, и ему едва удаётся унять расходившихся бойцов.

– Что это вы, черти, чего не поделили?

А «черти» и сами не знают, что им нужно было делать...

Нет, не от счастья такое зверство!..

Заглядывал Гриша и за пределы мастерской, – и всюду видел несчастье, горе, нужду. Вот, в подвальном этаже соседнего дома мается прачка с тремя детьми: сколько несчастная терпит муки, полоская зимою бельё в проруби, таская страшно тяжёлые узлы иногда на пятый этаж, обваривая себе руки кипятком и т. п. Или вот напротив целые дни сидит, согнувшись над работой, сапожник и едва зарабатывает хлеб семье...

Да, всюду несчастье, всюду горе...

Но нужно же как-нибудь помочь этому, непременно нужно. Но как?

Этот вопрос Гриша поставил Ворохову. Но учитель Гриши оказался пессимистом: он полагал, что для исцеления мира от царящих в нём зол нет радикальных мер и что поэтому нужно жить, как живётся, де-

лая, по мере возможности, добро вокруг себя. Но Гриша не мог удовлетвориться подобной философией. Ему страстно хотелось средство, с помощью которого можно было бы сделать всех счастливыми. Он пока не видел такого средства, но верил, что оно есть и что его можно найти. Забившись где-нибудь в угол, он думал: «Бог ведь добрый: как же это Он сотворил людей на вечную муку? Нет, тут что-нибудь не так». И Гриша, читавший в это время уже более или менее свободно, обратился к Евангелию.

Он давно хотел попросить Ворохова почитать ему Евангелие. Но гимназист несколько раз выражал перед Гришей отрицательное отношение к религии, и Гриша решил дождаться того времени, когда он сам будет в состоянии читать Евангелие. Теперь это время наступило, и Гриша, давно запасшийся русским Евангелием, со страстной жадностью набросился на него. Перечитывая историю земной жизни Христа, Его притчи и проповеди, историю жизни первых христианских общин и послания апостолов, Гриша искал исключительно указаний на причины дурных порядков, царящих в мире, и на средства к их изменению в лучшую сторону, и останавливался, главным образом, на тех местах Евангелия, которые, по его мнению, имеют отношение к мучившим его вопросам.

Сначала его внимание было привлечено тем местом Евангелия, в котором рассказывалось, как Христос сказал богатому юноше, чтобы он раздал всё своё имущество бедным. Гриша с крайним интересом и любовью прочитал это евангельское повествование и глубоко задумался над ним. «Ах, как бы это было хорошо, думал он, если бы все сделали так». И в его воображении пронеслась восхитительная картина: его хозяин, богатые соседи, заказчики, которые поражали его всего более своими шубами, кабачник, все – стоят на улице и раздают желающим всё, что у них имеется: деньги, одежду, мебель и проч. А улица вся запружена нищими, калеками, бедными, оборванными женщинами и детьми – и все получают всё, что им нужно, все счастливы, у всех радостные лица... Но вот раздаётся суровый голос хозяина, настоящего, а не воображаемого, – и восхитительная картина исчезает. «Нет, никогда он никому ни копейки не даст», – думает Гриша, глядя на красный лоснящийся нос и жирные отвислые щёки хозяина. «Ну, а если я буду, помимо прочих, делать так, как сказано

в Евангелии? Вот я буду раздавать свои семь рублей (он состоял в то время уже на жалованьи), что из этого выйдет? Отдам я деньги Фёдорову сапожнику, а другие – прачка Матрёна, Семён шорник – останутся по-прежнему? Да и Фёдор, – ведь он пропьёт мои деньги, да ещё меня дураком обругает... А Яковлевич? Ведь он двадцать рублей получает, ему деньгами не поможешь». И Грише представляется не развиденная им картина: в грязной луже около забора лежит Яковлевич и ведёт разговор сам с собой: «ведь, ты, Яковлевич, подлец, подлец – ты... Ты мастер хороший, золотой мастер – цены тебе нет, только... подлец ты... Ты, ведь, убил жену?.. говори, скотина, убил? Да хвостом не финти, а говори прямо, шельма пьяная, свинья, с позволения сказать...». Затем начинался плач, страшный плач взрослого человека. Яковлевич рыдал, рвал себя за виски, бился головой о землю, – и это продолжалось до тех пор, пока Яковлевича не поднимал кто-нибудь и не приводил в мастерскую, или он не засыпал тут же в луже... Какими деньгами поможешь Яковлевичу?..

Останавливался затем Гриша и над многими другими местами Евангелия, задумывался над выраженными в них нравственными требованиями. Высота этих требований невольно покоряла ум Гриши; он чувствовал благоговейное уважение к святой книге и решил построить свою личную жизнь на евангельских предписаниях нравственности. Но, перенося дело на чисто практическую почву, имея постоянно в виду окружающих его людей с их скорбями и страданиями, Гриша долго не мог найти такого всеобъемлющего принципа, проведение которого в жизнь спасло бы людей от страданий. Прочитывая и перечитывая многие места Евангелия, задумываясь над ними, толкая их на разные лады, Гриша всё-таки не находил того, что ему было нужно. Он похудел, как-то осунулся, стал ещё более прежнего избегать людей, перестал даже посещать Ворохова и всё свободное время сидел с Евангелием в руках. Хозяин и особенно подмастерья сначала смеялись на «святошеством» Гриши, издевались над ним во всевозможных плоских шутках и всячески изощряли над ним своё остроумие. Но упорство, с которым он воздерживался от всякого ответа на шутки и остроты, настойчивость, с которою он искал чего-то в Евангелии, бледность его лица и болезненный блеск глаз – всё это прекратило мало-помалу всякие шутки со стороны хозяина и подмастерьев:

они начинали относиться к Грише с каким-то особенным чувством, состоящим из смеси сожаления и уважения. О побоях и брани теперь, конечно, не могло быть и речи, так как Грише в это время было около семнадцати лет...

А Гриша, между тем, всё искал. Часто после долгого чтения Евангелия и после продолжительной работы мысли, не приведшей ни к какому результату, он впадал в полное отчаяние: ему казалось в такие минуты, что мир обречён на вечное страдание и что нет средств вывести его из этого положения. В такие минуты он вспоминал Ворохова и начинал думать о нём как о великом человеке, который давно пришёл к такому же мрачному выводу, к которому приходил теперь Гриша. Но он был слишком живой человек, слишком принимал к сердцу интересы жизни, чтоб удовлетвориться своим отрицательным выводом. Прислушиваясь к плачу детей, запертых в маленькой каморке Матрёною, которая пошла разносить бельё давальцам; наблюдая на улице, как сапожник колотил свою жену; присутствуя безмолвным свидетелем при ожесточённых драках, происходивших в мастерской, Гриша всем своим существом чувствовал, что «нельзя же так» и что «надо что-нибудь придумать». И снова его мысль начинала работать, снова он перечитывал Евангелие.

Узнал, наконец, Ворохов, почему ученик перестал его посещать, и принёс ему несколько книг, в которых описывалось скверное житьё русского человека – в деревне, в мастерской и на фабриках. Гриша внимательно прочитал книги, и, возвращая их Ворохову, заявил:

– Мне не это нужно.

– Как так? – удивился Ворохов.

– Да так: тут напечатано, как люди живут, а мне хочется знать, как нужно жить.

Ворохов не нашёлся, что отвечать, и Гриша возвратился к Евангелию.

И, наконец, он нашёл, что искал!

Не раз останавливался он на словах Христа о всеобщей любви, о любви не только к ближнему, но и к врагу. Сначала ему казалось, что в этих словах кроется разрешение мучившего его вопроса. Любовь! Да, это именно то, чего недоставало ему в жизни, чего он так страстно жаждал, что могло осветить всю его жизнь. Да, именно любви недо-

стаёт в людских отношениях: если бы хозяин и подмастерья любили его, разве бы они бранили и били его? Вот хозяин любит своего сына – и никогда его не бьёт. Если б хозяин любил подмастерье, разве он обсчитывал бы их? Если б давальцы любили прачку Матрёну, разве бы они платили ей так мало, что она едва может прокормить детей?.. Да, именно любви недостаёт миру, именно любовь может исправить мир!.. Но отчего же люди не любят друг друга, когда дело так просто и ясно? Присматриваясь к пьяным, суровым и жестоким фигурам окружающих его, Гриша решал, что люди не могут любить друг друга, что они слишком дурны для всеобщей взаимной любви...

Однажды Гриша сидел у Ворохова и слушал, как тот читал книгу о важности гигиены. В книге приводилась масса примеров того, как люди губят свое здоровье, а иногда и саму жизнь, исключительно вследствие незнания самых простых гигиенических правил.

– Отчего ж это, в самом деле, люди не делают так, как написано в этой книжке? разве люди вороги себе? – спросил Гриша.

– А оттого, отвечал Ворохов, – что они не знают того, что я тебе прочитал, не понимают того, что это нужно делать.

– Ну, а если это им рассказать?

– Тоже, наверно, долго не будут понимать, и даже верить не будут.

– И никогда не поверят?

– Поверят, когда поймут. Только долго нужно будет им все разъяснять, потому что они не привыкли вообще что-либо понимать, – это, во-первых, а во-вторых, они уж слишком привыкли к грязи и вообще к своей скверной обстановке, чтобы скоро расстаться с ней. А все-таки, если как следует повести дело и упорно не оставлять его, то можно будет добиться того, что они поймут и сделают так, как сказано в этой книге...

Гриша задумался. Эти лениво сказанные Вороховым слова – «не знают», «не понимают», «если повести дело как следует, то поймут» – вдруг натолкнули Гришу на целый ряд мыслей относительно занимавшего его предмета. «А, ведь, и насчет любви люди не знают: не знают, что нужно любить друг друга, не понимают, что им от этого будет лучше. Да и откуда им знать это? Разве им кто-нибудь когда говорил? Никто и никогда. Возьмем хоть подмастерьев: были они ребяташками – били их не на живот, а на смерть, про любовь тут и помину не

было; выросли они – сами начали бить, а спроси – почему? один ответ: «надо, нас самих учили». И не понимают они, что нужно не бить, а любить. Также и все другие, прочие: и хозяин, и прачка Матрена, и Федор сапожник, и Ворохов, и всякие давальцы – все, все они не знают, не понимают, того, что нужно любить... Значит, нужно сделать, чтобы они знали это.

Но как? И Грише представились знакомые лица: вот Иван косой, главное достоинство которого состоит в том, что он берет верх в драке над всеми подмастерьями; вот фабричный Петр, приходящий иногда в мастерскую в гости к одному из подмастерьев, – он несколько лет сидел в остроге за убийство жены и теперь вспоминает с удовольствием о том, как он «хлобыстнул» жену; вот хозяин, который недавно самым бессовестным образом «зажилил» часть небольшого жалованья Гриши. Как добиться того, чтобы все эти люди поняли, что нужно не драться, не резать, не обсчитывать, а любить?.. Гриша не знал, как ответить на этот вопрос, но решил, что он должен, непременно должен додуматься до удовлетворительного ответа.

И он додумался. Однажды он пришел к Ворохову и спросил его:

– Вот, вы мне читали и рассказывали про разные машины... Или вот – говорили, как какой-то ученый узнал про обращение крови... Прочитайте мне теперь или расскажите, – как жили они сами, кто выдумал машины, и кровообращение, и электричество, и железные дороги, и все...

– С удовольствием, согласился Ворохов. – Только почему тебе захотелось узнать именно это?

– Да мне хочется знать, скоро ли им поверили...

– Ну, нет, брат, не очень-то скоро. Иной так и умирал, не добившись, чтоб ему поверили, и только после смерти об нем добром вспомнили. А иногда целую жизнь преследовали и даже заставляли отказываться от того, до чего он додумался...

– Вот, вот, это-то самое мне и почитайте!..

И они в течение нескольких недель занимались чтением биографий «благодетелей человечества».

Гриша с напряженным вниманием слушал это чтение. Мысль о том, что только любовь может спасти мир, что об этом знает только он один, и больше никто, и что он в скором времени должен выступить

с проповедью любви, возвышала его в собственных глазах и даже побуждала его считать себя равным тем великим людям, жизнеописания которых он слушал. Сначала ему даже было стыдно смотреть на себя как на человека, выходящего «из ряда вон». Но потом, сравнивая себя с окружающими, он находил, что он решительно выше всех: ведь, никто не понимает, как спасти мир; решительно никто, даже самый умный человек, какого только он знал, Ворохов, и то не понимает этого; а он, Гриша, доселе бывший таким ничтожным человеком, понимает это. И потому Гриша слушал чтение биографий с каким-то особенным, родственным сочувствием: ведь и ему придется перенести то же, что перенесли все эти изобретатели и мыслители, и он будет делать то же, что делали они.

Две черты особенно поразили Гришу во всех биографиях великий людей: постоянство и упорство, с которыми они преследовали, раз намеченные цели, и страдания и преследования, которым они подвергались. Черты эти были общи всем биографиям и являлись чем-то необходимым в деятельности людей, вносящих новую мысль в мир. И Гриша решил подготовить себя к предстоящей ему деятельности, выработав в себе, во-первых, умение вести дело проповеди любви, а во-вторых – способность переносить всякие страдания.

«Иначе нельзя», – думал Гриша, – стану я говорить какому-нибудь пьянице, а он ещё осмеёт меня: «ты, скажет, молокосос, а ещё лезешь учить меня!». А вот как я буду пятью годами выше его, как я буду знать столько, сколько десятеро таких-то, как он, не знают, как я буду ему нужен каждую минуту, – тогда другой разговор пойдёт: тогда ему и в голову не придёт, и язык не повернётся сказать мне что-нибудь дурное; да и слушать он меня будет иначе – обеими ушами, а не так, что одним ухом слышит, а в другое выпускает. Это раз. А другое: взбучка мне будет и ругаться будут многие, и даже иной раз отколошмятят. Это, как Бог свят. Вот и нужно приучиться».

И Гриша начал «приучаться».

«Приучивание» это, сообразно с поставленными Гришей целями, распалось на две части: во-первых, на приобретение знаний, решение различных возбуждаемых наблюдением природы и жизни вопросов и вообще на приобретение умственной силы; а во-вторых – на выработку привычки переносить голод, холод, нравственные страдания и т. п.

Для выполнения первой части программы Гриша – или, вернее, Григорий Петрович, так как ему в это время было уже 19 лет и окружающие его уже перестали называть его уменьшительным именем – обратился к усиленному чтению и стал искать общения с «учёными» людьми. Он записался в библиотеку и всё свободное время употреблял на чтение книг, в которых описывалось, «как в разных местах люди живут». Каждый день аккуратно, окончивши в 8 часов вечера работы по мастерской, он бежал в библиотеку и там читал газеты. Так как Ворохов в это время уже уехал в университет, то Гриша познакомился с некоторыми оставшимися в городе приятелями Ворохова, из гимназистов и семинаристов, и часто посещал их. Гриша задал им вопросы, возбуждаемые в нём чтение, просил объяснений непонятным местам книг, охотно слушал их рассуждения о различных предметах и т. п. Сначала он принимал их объяснения на веру, но потом мало-помалу начинал относиться к ним критически. Вообще умственное развитие его в это время сделало довольно значительные успехи: приобретенные знания и выработки определённых взглядов на различные явления жизни давали ему иногда перевес над знакомыми гимназистами и семинаристами в спорах по поводу того или другого явления.

Другая намеченная Григорием Петровичем цель – выработка в себе выносливости – побуждала его вести аскетический образ жизни. Он отказался от употребления спиртных напитков, к которым он привык ещё в первые годы пребывания в мастерской; ел столько, чтобы только быть в состоянии работать; одевался так легко, как только мог вынести, и т. п.

Добровольные лишения, которым подверг себя Григорий Петрович, и умственное превосходство, которое теперь ощутительно чувствовалось и хозяином, и подмастерьями, мало-помалу вызывал глубокое уважение к нему в людях, окружающих его. Множество мелких услуг, которые он оказывал как членам своей мастерской, так и посторонним лицам из числа бедняков окологде, – писание писем и просьб, указания, куда и к кому обратиться в случае какой-либо житейской нужды, – необходимости получения метрического свидетельства, какой-нибудь справки из казённой палаты или из мещанской управы и т. п., разъяснение значения какого-нибудь закона и постановления, – всё это заставляло окружающих Григория Петровича ещё более ува-

жать его и дорожить им. Мало-помалу он сделался положительно необходимым для всего околodka и начал приобретать авторитет между обывателями. К нему приходили для благочестивых бесед и для слушания чтения божественных книг; к нему же шли и потерпевшие какое-либо несчастье, жаждавшие утешения и успокоения. Старуха-портниха, прозванная «мировым судьёю», уже умерла года за два перед этим, – и Григорий Петрович мало-помалу начинал заменять её.

Теперь Григорий Петрович полагал, что ему пора выступить с открытою проповедью о необходимости всеобщей любви.

В это-то самое время я и познакомился с ним, как описано выше.

III.

Наше знакомство не ограничилось беседою в трактире. Напротив, я, крайне заинтересованный личностью Григория Петровича, старался видаться с ним как можно чаще, и скоро между нами установились весьма дружеские отношения. Мне очень хотелось узнать, каких религиозных убеждений и каких взглядов на современное общество держится мой новый друг. При ближайшем знакомстве с ним я убедился, что он никогда ещё не задумывался ни над чем, что не имело прямого отношения к двум, правда, всеобъемлющим идеям: «мир во зле лежит» и «только любовь может спасти мир». На этих двух идеях Григорий Петрович построил всё своё мирозерцание; из них же он выводил и правила, которыми руководился в практической деятельности.

«Мир во зле лежит». Это – отрицательный принцип: всё в мире скверно и заслуживает только одного – полного уничтожения. «Только любовь может спасти мир» – это принцип положительный: нужно все силы направить на то, чтобы жизнь была построена на любви. Само собою, Григорий Петрович развивал оба принципа, ссылаясь на Евангелие и подкрепляя их массою цитат из священного Писания.

Как я уже сказал, он решил приступить к проповеди всеобщей любви, когда я познакомился с ним. Сошедшись с ним поближе, я однажды спросил его:

– Ну, что, вы начали свою проповедь?

– Начал, – отвечал он, широко улыбаясь.

- Каким же именно образом?
- Посредством обличений...
- Это как же так?
- Да так, обличаю, – и всё тут.
- Ей Богу, не понимаю.
- А вот, не хотите ли когда-нибудь обличать вместе со мною?
- Да я не могу...
- Ну вот, велика хитрость... Ну, а если не хотите, так послушайте, как я буду обличать.

Я согласился. И вот однажды Григорий Петрович пришёл ко мне поздно вечером и предложил мне отправиться на обличенье.

Дорогою я спросил Григория Петровича:

– Кого же вы будете сегодня обличать?

– Василия Петрова, портного, не знавали?

– Нет, знаю; я был у него несколько раз, – отвечал я.

– Ну, так вот... У него жена умерла, а он там безобразия творит...

Дочка пропадёт...

«Умерла! – подумал я, – бедная девочка, и впрямь пропадёт!». И мне представилась такая обстановка, какую я видел, бывая у Василия Петрова.

Тесная комната в подвальном этаже. Два окна, о шести шибок каждое. Стёкла целы только в двух шибках; в одной – совсем нет стекла, а в остальных девяти – стёкла разбиты, остались одни кусочки. Отсутствующие стёкла затенены или наклеенною бумагою, или просто тряпкою. Обстановка комнаты вполне гармонирует с бумагою и тряпками в окнах. Половина комнаты занята печкою, а в другой половине помещаются два стула и нечто, служащее постелью Василию Петрову с женою. Петров зовёт это нечто «кроватью», хотя нельзя не сказать, что это слишком оригинальный вид кровати: «кровать» эта состоит из двух досок, один конец которых прибит к подоконнику, а другой опирается на два простых деревянных бревна. На «кроватьи» лежат две подушки, старая шуба и одеяло. Под кроватью стоит сундук или, попросту, ящик из-под спичек; из него видны какие-то лохмотья и голенища сапога. На стене, над стульями, прибита полка, на которой стоят чайник, два стакана с блюдечками, деревянная чашка с такими же ложками и два горшка. Больше в комнате ничего нет.

И в этой-то обстановке должна начинать самостоятельную жизнь восьмилетняя девочка, имея единственным покровителем вечно пьяного отца!..

– Ну, пришли, – сказал вдруг Григорий Петрович, – и мы взошли в квартиру Петрова.

Сальная свеча лишь в слабой степени разгоняла темноту, и мы только мало-помалу рассмотрели находившихся в комнате. Прямо перед нами, на «кровати», с которой было снято всё, стало быть, просто на голых досках, лежала несчастная жена Василия Петрова. Её маленькое личико сделалось ещё меньше; цвет лица до невероятной степени был чёрен. Губы были сильно сжаты, как будто она всё ещё чувствовала боль и старалась сдержать крик. Глаза страшно впали. Всё её лицо носило следы недавней муки. Одетая она была в своё «вечное» платье, на котором был целый слой грязи и сала. В ногах у неё сидела дочь и с ужасом смотрела на мать. Несчастный ребёнок оцепенел и не понимал, что делается вокруг него. Худенькие ручонки сжимали маленькую головку, положенную на колени матери; глаза малышки смотрели испуганно и так широко были раскрыты, что, казалось, готовы были выскочить из орбит: всё тело девочки дрожало...

А тут же, около печки, опечаленный муж, Василий Иванович Петров, уже устраивал поминки: на столе, занятом у квартирной хозяйки, были расположены штоф очищенной и косушечка «ратафии» «для дам», две колбасы и французская булка. Денег для покупки всего этого, как мы узнали после, Василий Иванович достал следующим остроумным способом: зная, что соседки, знакомые и незнакомые, непременно придут проститься с покойницей, он поставил возле жены тарелку: «не имея, дескать, средств для погребения любезнейшей супруги, покорнейше прошу уделить, что можете»... Собранных таким образом денег было достаточно, по мнению Василия Ивановича, не только для погребения супруги, но и для почтения её памяти приличными поминками. На поминки он пригласил Марью Петровну, свою квартирную хозяйку, с супругом, и «отнюдь никого более, ибо все прочие – свиньи». До нашего прихода хозяин и гости, видимо, успели «осушить по рюмочке – по другой». По крайней мере, когда мы отворили дверь, пирующие уже расчувствовались и обнимали друг друга. Занятые своим делом, они не заметили нашего прихода, и мы

свободно могли наблюдать эти своеобразные поминки. Сначала Марья Петровна соболезновала горю Василия Ивановича и утешала его, по мере сил и способностей своих; но затем, мало-помалу, пересчитав сперва все хорошие качества покойницы, Марья Петровна коснулась её недостатков, и после долгих рассуждений на эту тему «чего только вы, Василий Иванович, не перенесли от покойницы!» пришла к решительному выводу, что Василию Ивановичу не только нечего печалиться, но, напротив, нужно радоваться, так как он теперь свободен и может начать снова жизнь. Василий Иванович обнял Марью Петровну и заплакал.

– Правда, кума, правда. Загубила покойница, – царствие ей небесное! – мою молодость... Эх! Какой я был молодец до женитьбы!.. А теперь я что?.. Эх, эх?.. » Сила моя сила!..» Не воротишь...

И он принялся рыдать.

– Ничего, кум, – утешал квартирный хозяин, – женишься на молодой жене – вот и воротишь.

– Да за меня никто не пойдёт: скажут – старик...

– Ну, вот, вздор ещё, – подхватила Марья Петровна, – какой же вы старик? Совсем ещё молодец... Вот постоит: такую я вам невесту найду, что только ахнете...

– Да у меня уже есть на примете невеста...

– Ну, так чего же лучше!.. А теперь помянем-ка покойницу. Эх, кума, кума, зачем помирала? Теперь бы выпили с тобой...

Говоря это, Марья Петровна поднялась и подошла к трупу.

– Хочешь водочки? Ну, выпей!

И она поднесла рюмку к губам умершей.

– Кушай на здоровье!

И, выпив залпом рюмку, она захохотала. Захохотали и остальные пирующие.

– Ишь, ведь, что выдумала – покойницу надувать: ей подносить, а сама пьёт... Ха, ха! Шутница!..

И вдруг среди этой бесшабашной оргии раздался страшный голос Григория Петровича:

– Проклятые!

Эффект вышел поразительный: все трое пирующих повернулись в нашу сторону и, бледные, дрожащие, с страшно выпученными гла-

зами, смотрели на нас. Марья Петровна даже вскрикнула и уронила рюмку.

– И не стыдно тебе, Василий Иванович? – дрожащим голосом начал Григорий Петрович. – Да есть ли в тебе совесть? Ну если ты Бога не боишься, людей не стыдишься, так пожалел бы хоть ребёнка-то! Ты посмотри на неё – на что она похожа? У ней мать умерла, а ты при ней мать-то поносишь, да ещё позволяешь над мёртвой издеваться... Плохо тебе будет: Бог всё видит и накажет тебя; страшно накажет. Будешь ты после плакать, да поздно будет, помяни моё слово... А вы, Марья Петровна, вы – лицемерка: ходите аккуратно в церковь, служите постоянно молебен, а теперь что вы делаете? Сказано: милости хочу, а не жертвы. И будет вам на том свете геенна вечная!..

Весь хмель, видимо, вылетел из головы пировавших. Они с ужасом слушали Григория Петровича: впечатление, производимое его словами, увеличивалось ещё страшным выражением его лица, взволнованным голосом и торжественным тоном речи. Словно нечаянно проник свет в ту тьму, в которой они доселе находились, и осветил им всю мерзость совершенного ими поступка. Стыд, видимо, овладел ими, и они сидели молча, понуриив головы.

– Слушай, Василий Иванович: девочку-то ты сгубишь, если она останется при тебе. Ты лучше отдай её барыне, Власовой: знаешь, ведь? Я уже говорил ей о девочке, и она согласна взять её...

– Нет, нет, Григорий Петрович, – каким-то болезненным голосом закричал Василий Иванович, – я буду кормить её, растить, верь совети...

– Была у тебя советь когда-то, это я помню; только теперь ты её пропил. Ну, да об этом мы поговорим с тобой завтра, а теперь я всё-таки девочку уведу до завтра: что ей здесь мучится, да на ваше безобразие смотреть... Да, вот ещё что: пьянство ты отложи до времени. Или лучше вот что мы сделаем...

И Григорий Петрович взял со стола посуду с водкой, вынул из рамы тряпку и выбросил в разбитое окно штоф и косушку.

– Так-то лучше, – добавил он и затем обратился к девочке. – Ну, а теперь, Поля, пойдём со мною.

Поля ухватила за колени матери и начала кричать: мама, мама!

– Ах ты, вот ещё грех... Поля, да мы завтра придём, а тебе спать

нужно, а мать нужно обмыть... Пойдём же, голубчик!

И он, нежно обняв девочку, поднял её с трупа. Девочка продолжала всхлипывать, но уже едва слышно.

– А ты, Василий Иванович, подумай насчёт девочки, что я тебе сказал, а завтра ответ дай...

И мы вышли. Дорогою я спросил Григория Петровича:

– Это и есть обличение?

– Оно самое... Только всё: и Полю берите во внимание... всё, от начала до конца...

IV.

Раз как-то я пришёл к Григорию Петровичу в гости. Он – как это всегда бывает с нашими мастеровыми – не имел особой квартиры, а жил в той же мастерской, в которой работал: верстак служил ему и письменным столом, и постелью. В одной комнате с ним помещались ещё человек восемь мастеровых. Воздух в комнате был постоянно испорченный, вонь невыносимая. Поэтому окна мастерской никогда не закрывались в течение всего лета, а иногда случалось, что их открывали по целым дням и зимою, когда «уж очень невтерпёж становилось».

Когда я вошёл в мастерскую, она была полна мастеровыми, находившимися в самых разнообразных позах: кто лежал на верстаке, кто – на полу, кто сидел, кто ходил. Занятия мастеровых также были разнообразны: одни пели песни, другие наигрывали на гармониках; один стучал в бубен, а некоторые просто слушали. При моём входе всё вдруг умолкло, и взоры всех обратились на меня. Через секунду с одного из верстаков поднялся Григорий Петрович и с добродушной улыбкой приветствовал меня. Остальные мастеровые тоже поднялись и начали уходить из комнаты.

– Зачем же они уходят? – обратился я к Григорию Петровичу.

– А это они всегда так делают: как только кто-нибудь придёт ко мне, они уходят в другие мастерские, к кровельщикам, либо к «богомазам»... Ведь, у нашего хозяина на одном дворе несколько мастерских.

– Значит, мы их стесняем? Лучше ж пойдёмте ко мне, – предложил я.

– Какое там стеснение! Я им не раз говорил, чтоб оставались: зачем

им уходить? Так нет: мы, говорят, из уважения... Да нынче и иди-то мне нельзя: у меня нынче собрание.

– Какое собрание?

– А так, наши соберутся.

– Кто это ваши?

– А те, кто по любви хочет жизнь устроить.

– И много ваших?

– Пока немного. Да вы сами увидите...

Действительно, через некоторое время в мастерскую начал приходиться народ. Здесь были самые разнообразные личности: отставной солдат, торговки сальниками, мещане-огородники и, к моему удивлению, портной Василий Петров. Всех было двенадцать человек. Из них только один старик, а все остальные в возрасте от 20 до 30 лет.

Каждый входивший в комнату здоровался с Григорием Петровичем, приветливо кланялся мне и шёпотом спрашивал:

– А насчёт кассы сейчас?

– Можно и сейчас, – отвечал Григорий Петрович.

Спрашивавший лез в карман, доставал оттуда деньги и отдавал их Григорию Петровичу, приговаривая с улыбкой:

– Сорок копеек! или: полтина!

Оказывалось, что вновь образовавшаяся «братия» имела уже кассу.

Приходившие рассаживались, как кому было удобнее – на верстаках, на недоделанной мебели, а то и просто на досках, – и вступали в разговоры друг с другом. Тем временем Григорий Петрович устраивал на одном из верстаков чай.

Мало-помалу разговор сделался общим. Предметом разговора служило происшедшее за несколько дней перед этим убийство. Жертвою убийства был немец, бывший пастор. Убийцы подвергли сперва его пытке – поджигали подошвы, а потом отрезали ему голову. Все удивлялись жестокости убийц и делали догадки, кто бы они могли быть.

– Непременно солдаты, – говорил один мещанин.

– Ну, уж – солдаты, – обиделся отставной солдат, – тоже и из мещан есть...

– А ты, Ильич, не обижайся: теперешние солдаты-то не вам, старикам, чета – суцая дрянь... И из мещан – это ты верно – есть такие ухари, что просто от них житья нет.

– Да, нонче народ, – заметил солдат, – нечего сказать, охулки на руки не кладёт. В старину-то, когда я ещё не служил, живали в нашем городе не так, а тихо, смирно, по-божески; не нужно было ни замков, ни собак злых. Одно слово – жили хорошо, по-дружески, по-соседски... Ну и насчёт франтовства, или там фанаберии какой – тоже ничего не было: у нас, у троих братьев, одни штаны были... Да, подтвердил солдат, видя, что все улыбнулись, – истинно говорю, что одни штаны были – по очереди надевали... А чтоб насчёт выпивки или табаку молодые баловались – этого и в помине не было: бывало пойдёт по городу какой-нибудь старый солдат – вот как я теперь –... ну, идёт он и трубку курит, а мы – уж большие ребята были – целою гурьбою бежим за ним: так нам табак-то в диковинку был... Ну, и соседство тоже было настоящее, а не то чтобы так себе: случись какая беда, сейчас помогут. Да что: колодцы копать – никогда не нанимали, а всё соседскою помощью; крышу крыть – тоже... А теперь-то... Эх!..

Это верно: теперь скорей с несчастного ещё что-нибудь сдерут, чем помогут ему, отозвалась торговка сальниками.

– А молодые-то ребята теперь какие: идёт парнишка лет пятнадцати, курит папироску, за барышнями ухаживает – настоящий франтик...

– А воровство-то теперь пошло, грабёж какой...

– Совесть за деньги продают...

– Да что и говорить: хороши нынче все, – заключил Василий Петров. – Взять хоть меня! Как подумаю, до чего было я дошёл, если бы не Григорий Петрович, дай Бог ему...

– А вот что, братцы, – перебил Григорий Петрович, видимо боявшийся похвал, – отчего же нынче люди так дурно живут?

– Отчего? – повторил вопрос Василий Петрович. – А от нужды, верное слово, от нужды. Я это дело вот как знаю: всё сам испытал. С чего я пить-то начал? С хорошей жизни что ль? Бывало, сидишь, сидишь целый день согнувшись, а вечером разогнёшь спину, оглядишься кругом – нужда: жена сидит измученная, какие-то тряпки чинит; девочка булочки просит, а её нет; квартира – хуже всякого погреба; поужинал бы – да нечего... Такая тоска возьмёт, что схватишь шапку, да в кабак: там и светло, и тепло, и разговор весёлый...

– Нужда – что и говорить – всему корень...

– Голод – не тётка: и грабить заставит...

– Ну, не всегда нужда-то виновата: у иного и в кармане густо, а он всё норовит какую ни на есть пакость выкинуть, – возразила торговка сальниками.

– Ну, а я думаю, что и здесь виновата нужда, – отвечал Григорий Петрович, – ведь если разобрать такого человека, кто при густом-то кармане живёт не по-божески, да подумать, отчего он стал дурным человеком, так и окажется, что опять-таки нужда... Либо он сам нужду терпел, да остервенел, либо его отец с матерью испортили – недосмотрели, а иной раз и просто учили грабить; бывает, ведь, и так...

– Чего не бывает, бывает... Грех так-то поминать родителя, а всё-таки скажу: покойник, бывало, нарочно посылал к соседям в огород капусту промышлять, или картошку, или там редьку, бураки... Только тут уж подлинно нужда причиной была...

– Да, всюду нужда, – горячо заметил Григорий Петрович.

– Это что ж, верно! – отозвался солдат.

– Это верно, это так, – раздалось со всех сторон.

– Ну, а если это так, – продолжал Григорий Петрович, – так и давай-те нужду-то эту искоренять... Отчего нас нужда одолевает? А оттого, что мы живём врасыпную: всякий, кто сильнее нас и хитрее, и грабит, сколько его душеньке угодно. А попробовал бы кто-нибудь нас тронуть, когда мы все вместе, – небось, осекнулся бы... Или случится с кем-нибудь несчастье – погорел, деньги потерял или заболел, – ну и беда, и пропал человек: ложись в гроб да умирай. А как мы вместе, так нам всякое несчастье наплевать... Вот слушайте, как жили первые христиане.

И Григорий взял Евангелие, раскрыл «Деяния апостолов» и прочитал:

«Не было между ними нуждающегося; ибо все, которые владели землями, или домами, продавая их, проносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, кто в чём имел нужду» (гл. 5, ст. 34 и 35).

– Хорошее это дело, – произнёс доселе молчавший огородник, – много я думал об нём... Хорошее дело, и вся душа лежит к нему... Только мы-то годимся ли? Ведь дрянь мы, страшная дрянь... Уживёмся ли?

– А вот посмотри ты на нашу мастерскую, – отвечал Григорий Пе-

трович, – согнал нас сюда хозяин – кто с сосёнки, кто с бору; а по-смотри, как мы живём: дружно, честно, по-товарищески. В других мастерских, хоть у «богомазов», каждый Божий день драка, а у нас бранного слова не услышишь. А прежде-то что было, не приведи Господи!.. Вот ты и смотри...

Воцарилось молчание. Все задумались.

– Трудное это дело, – начал опять Григорий Петрович, – это что и говорить! И делать это дело нужно не сразу, а нужно друг к другу присмотреться: сойдёмся ли?..

– Это так, – заметил солдат, – семь раз примерь, а один раз отрежь.

– Вот мы и будем понемногу примерять: сперва касса, потом братские обеды, а там ещё кое-что... И увидим, годимся ли мы...

– Так и нужно, так и будем, – подтвердили со всех сторон...

– Ну, теперь у кого мы соберёмся следующий раз?

– У меня, други, у меня, – сказал один из огородников, – больно уж охотятся соседи мои побывать у нас на собрании: ведь, про нас говорят, Бог весть что...

– Да, уж языки-то насчёт нас чешут, это верно, – заявила одна из торговков.

– Пускай чешут, – ответил солдат, – почешут и перестанут.

Все распрощались со мной и Григорием Петровичем. Я спросил его:

– И вы надеетесь довести дело до конца?

– Непременно.

– А слухов не боитесь?

– Я ничего не боюсь...

V.

Судьба заставила меня оставить родной город, и скоро, увлечённый вихрем жизни, я совсем забыл о Григории Петровиче. Только через два года я получил от сестры известие о его судьбе.

И как-то странно было среди известий о свадьбах, крестинах, похоронах и других событиях в жизни родных и знакомых, среди рассказов о театре, балах и гуляньях, среди жалоб на недостаточность средств, не хватающих на «приличную» жизнь, читать следующие строки:

«Недавно в нашем окружном суде судился какой-то сектант, Гри-

горий Востряков. Он обвинялся в том, что смеялся над церковью, отвергал таинства и, наконец, завёл какую-то секту. Говорят, что в секте этой богослужение совершалось таким образом: становили среди комнаты кадущку и плясали вокруг неё. Простонародье верит, что из кадущки вылезал чёрт и давал плачущим деньги. Рассказывают ещё такие мерзости про этих хлыстов или шалапутов (их так зовут), что мне просто стыдно про это писать. На суде, однако, Вотряков держал себя гордо и с достоинством, говорил, что мир полон зла, что все – мошенники, забыли правду и что он и не ждёт справедливого суда. Его приговорили к ссылке на поселение...

P.S. Да, и забыла сказать: Востряков обвинялся ещё в том, что, пользуясь невежеством своих последователей, обирал их в свою пользу».



ИЩУЩИЙ ПРАВДЫ

I. Нелюдимец

Если бы читатель, проезжая несколько лет тому назад через Шалашную, вздумал спросить, где живёт Афанасий Лопухин, едва ли бы он получил надлежащий ответ. Дело в том, что шалашниковцы редко величают друг друга по именам и фамилиям, а больше всё по прозвищам, «по улишному», как выражаются они сами. Есть здесь Рыло и Косорылый, Оценок и Налыгач, Отче наш и Прострели твоё пузо и т. д. В этом отношении остроумие шалашниковцев не знало предела, и всякая мало-мальски смешная черта давала материал для клички. Был, например, мужик с громадными ноздрями – его прозвали Ноздря; другой подтягивал постоянно порты – ему дали кличку Подтяни штаны. Что касается Афанасия Лопухина, то он тоже был известен только под кличками. В молодости его за быстроту и юркость прозвали «швытким», а потом он был известен по имени «нелюдимца». Последнюю кличку он разделял с двумя другими мужиками, от которых его отличали добавочным прозвищем «закомелистый»; два же другие «нелюдимца» назывались – один «толстым нелюдимцем», а другой – «смирным».

Прозвище «нелюдимцев» как нельзя кстати было дано Лопухину и двум другим мужикам: это были «нелюдимцы» не только в том смыс-

ле, что они сторонились людей, но ещё и в том, что они совершенно не похожи на прочих обитателей Шалашной. В то время, как большинство шалашниковского населения разорялось, обременялось долгами и недоимками и попадало в кабалу, а меньшинство быстро богатело за счёт большинства, «нелюдимцы» стояли от всего этого в стороне: трудолюбивые, хозяйственные и непьющие, они не должны никому, но им никто не должен; их не грабят, и они не грабят. Оттого, хотя дома «нелюдимцев» полные чаши, но они не «богатеи». Материальная самостоятельность позволяет «нелюдимцам» держать себя независимо и не бояться никого. И кулаки страшно ненавидят «нелюдимцев», как потому, что «их не забротаешь», так и потому, что, глядя на них, и заурядный мужичонко начинает думать: «эх, ведь и я так-то жил бы, если бы мои денежки не шли Распоясову!..»

Из трёх шалашниковских «нелюдимцев» Афанасий Иванович Лопухин был бесспорно самый замечательный. Это был мужик лет сорока, с широкою чёрною бородою, с медленною поступью и медленною, важною речью. Последнюю Афанасий Иваныч усвоил, странствуя по разным канцеляриям и объясняясь с разными начальниками: он был несколько лет постоянным шалашниковским ходоком.

Это был «мирской человек» в лучшем смысле этого слова, стоящий «за мир» всюду и всегда. Много пришлось вытерпеть Афанасию Иванычу за «мир»: не раз он сиживал по мирским делам в пересыльных и иных тюрьмах, не раз «препровождался» по этапу, не раз получал собственноручные начальственные наставления. Всё переносил безропотно «мирской ходок» и всегда был готов положить душу за «мир». Такое самопожертвование объяснялось как уверенностью, что «мир» не выдаст и, что бы с ходоком ни случилось, его семья не пропадёт, так и тем представлением о «мире», которое сложилось в уме Афанасия Иваныча. Он был большой идеалист и построил своё представление о «мире» как из реальных данных, так и из продуктов своей фантазии. Старый строй общественных отношений в Шалашной давал действительно много данных для идеализации. Плачется, например, вдова, что посеяла бы она, да полосу вспахать некому, – глядь, а полоса неведомо кем вспахана, только сей. Горюет какой-нибудь слабосильный мужик с большою семьею, что хлеб у него вышел, а взять негде; вышел на утро на улицу, а на завалинке мешок муки. Была в Шалашной

нищенка; ездила она с попами собирать «новь», набирала несколько возов хлеба всякого рода, а потом раздавала всем, кто нуждался и приходил к ней. «Мир» действительно заботился о своих членах и выручал их из нужды; помогал трудом, собирал для них по раскладке хлеб, давал деньги. Умер в остроге ходок – его семье «миром» выстроили новую избу и «миром» обрабатывали несколько лет землю, пока не выросли сыновья ходока. Подобные черты старого шалашниковского строя Афанасий Иваныч обобщил и, на основании их, создал своё представление о «мире». Этот мир справедливости и равенства, где «каждый за всех и все за одного», Афанасий Иваныч полюбил до того страстно, что действительно мог пожертвовать за него жизнью.

Но жизнь шла, принося с собою всё новые и новые явления. Старый строй стал рушиться, старые обычаи стали исчезать. «Мир» мало-помалу превращался в собрание людей, ничем не связанных друг с другом, людей, интересы которых не только не солидарны, но часто прямо противоположны. Усиливались тяготы, лежащие на мужике, усиливалась нужда; как грибы росли и множились кулаки. Нужда заставляла гнаться за копейкой, а погоня за копейкой разрывала всякие связи. В Шалашной начинался культ золотому тельцу. Афанасий Иваныч в качестве идеалиста был слеп и не замечал, что творилось вокруг него. Ему всё казалось, что он живёт при прежних условиях жизни, когда всё делалось «скопом», «сопча», «миром», когда всё было по-милу, по-любю, когда совести отводилось приличное место в деревенской жизни: «совесть – не порог, через неё не переступишь». Но, как известно, заблуждение не может быть вечным, и Афанасий Иваныч должен был прозреть, тем более, что юркие шалашниковцы, заметив его простоту и непонимание современных порядков, обдирали его как липовую корку.

У старосты был сын дурачок, и к тому же хромой. Понравилась дурачку девка, первая шалашниковская красавица, дочь бедного мужика, по прозвищу Пустобрюхова. Староста послал сватов. Как ни лестно было Пустобрюхову породниться с «богатеем», да ещё старостой, но когда девка завыла благим матом, жалко стало отцу отдавать свою дочь за дурака и он отказал сватам. Староста освирипел и стал мстить. С тех пор он чуть не ежедневно стал гонять Пустобрюхова «в подводы» и, наконец, так замучил его, что тот, несмотря на всю свою

смиренность, решил просить защиты у «мира». «Миряне», отлично знавшие всю суть дела, при первых же словах Пустобрюхова на сходе начали советовать ему покориться старосте.

– Ты чего ершишься-то? Чего дочери-то не отдаёшь, а? В этакой-то двор?.. Да каждый мужик за честь почёл бы... А ты?.. Эх, ты, пустое брюхо!..

– Господа старички! – возразил Пустобрюхий, – оно отчего бы не отдать? Только зачем он Василису мою сватает? Сами знаете, сын-то у него дурак, а сам он...

– Ну, ну. Что я-то сам, разбойник? Душегуб, что ли? А? – налетел на Пустобрюхова староста.

– Да что? Всем это известно: снохач ты...

– Честной мир! – завопил староста, – что ж это он поносит меня? За это с него должно взять штраф!

– Штрах, щтрах! – раздались голоса, – ведро водки...

– Что вы, братцы, – заплакал Пустобрюхов, – да у меня и денег нету...

– Денег нету? – ничего!.. Вали, ребята, к нему на двор! Волоки дроги, заложим в кабак!

Афанасий Иваныч слушал и ушам своим не верил. И это его изблуженный «мир»?!

– Стойте, стойте, братцы! – закричал он каким-то болезненным голосом. – Что вы это делаете?

Все замолчали. Мужики, собравшиеся бежать за дрогами, остановились. Кто-то сказал:

– Ну-ка, послушаем, что скажет наш Афанасий.

– А то и скажу, что отродясь я вас не ругивал, а нонче выругаю... За что вы штраф-то берёте? За то, что мужик своё дитё на муку да на поругание не отдаёт? Ведь вы ж все знаете, что староста – снохач...

– А ты не очень-то! – закричал староста. – Не видишь: я при медали...

Какой-то оборванный мужичонко подхватил последние слова старосты и козлиным голоском прокричал:

– Йён при медали!

«Миряне» рассмеялись.

– Зачем вы мирволите старосте? – продолжал Афанасий Иваныч, – нынче он одного оседлал, завтра другого, так он вас всех зануздает...

– Да что вы его слушаете? – перебил Афанасия Иваныча один из друзей старосты, – ведь водки он вам не поднесёт...

«Миряне» ещё раз рассмеялись.

– А ведь это правда, – заговорили они, – не угостишь ведь, Иваныч! Афанасий Иваныч плюнул и ушёл со схода.

– Так-то лучше, – заговорили любители даровой выпивки, – что ж, за дрогами бежать?

– Валяй!

«Штрах» был выпит. Через месяц Василиса стояла под венцом с дураком, а ещё через месяц убежала в город, где, как говорится, пустилась во все тяжкие. Пустобрюхов с горя спился.

Для Афанасия Иваныча удар был слишком силен. Все его заветные верования разбились в прах; у него не осталось ничего, на чём бы могла отдохнуть душа. И как он прежде любил «мир», так стал теперь ненавидеть его, совсем не принимая во внимание нужду и другие уменьшающие вину «мира» обстоятельства.

И Афанасий Иваныч не только перестал посещать сходы, не только удалился от «мира» и всех дел его, но ему просто стали противны всякие сношения с людьми. Если его звали в гости, он отказывался идти; если у него просили какой-нибудь вещи, он не давал. Он не постоянно был дома, показывался на улице только тогда, когда шёл в церковь или выезжал на поле. Шалашниковцы сначала крайне удивлялись происшедшей в Афанасии Иваныче перемене, но потом мало-помалу привыкли к ней и только изредка вспоминали «чудного мужика», которого прозвали «нелюдимцем», придавая этому слову какое-то особенное, смешное значение.

Запершись в своём дворе, «нелюдимец» не мог не думать о поразившем его факте. Мысль упорно работала, причём работа эта направлялась исключительно на отыскивание фактов несправедливости, неправды, обмана. Он последовательно разобрал отношения шалашниковского «мира» к отдельным членам и наоборот, отношения шалашниковцев друг к другу, семейные отношения, отношения попа к «мирянам» и наоборот, и всюду нашёл утерю старых патриархальных порядков и замену их чем-то безобразным. Не так давно, например, в Шалашной поп был из свинопасов. Проезжал архиерей через Шалашную, а в ней на ту пору не было дьячка; стали шалашниковцы просить

у архиерея дьячка – тот и говорит: «Выберите вы грамотного человека, я его и поставлю в дьячки⁵. А в то время в Шалашной было только четыре человека грамотных, и из них только один свинопас согласился поступить в дьячки. Так свинопас и стал дьячком, а потом дослужился до попа. Понятно, что такой поп, как свой человек в Шалашной, как человек, которого потребности не превышали потребностей каждого заурядного шалашниковца, наконец, как человек, работавший в поле наряду с прочими обитателями Шалашной, находился в наилучших отношениях со своими прихожанами и брал за исполнение треб самое ничтожное вознаграждение. Совсем другие порядки установились со смертью этого попа и с появлением в шалашной «кончившего богословие». Новый поп как человек с широкими потребностями и не желающий унижаться до труда так повёл себя по отношению к прихожанам, что они с первых же дней завыли и назвали попа «грабителем». Вместо любви, которой пользовался прежний поп, новый внушил шалашниковцам страшнейшую ненависть к себе, и они старались вредить ему чем только могли: обмазывали ему ворота дёгтем, ломали плетни, обкрадывали огород и т. п. А ругали так, как могут ругать только шалашниковцы. В свою очередь, поп теснил и давил шалашниковцев тоже как мог: по нескольку дней не хоронил покойников, давал новорождённым самые невероятные имена, отказывал под самыми пустыми предлогами в венчании и брал за требы изумительные цены. Словом, между попом и прихожанами установились настоящие военные отношения.

Те же военные отношения нашёл Афанасий Иваныч и в семье. В старину в Шалашной семьи были многочисленные, обыкновенно в двадцать, тридцать и более душ. Несколько поколений мирно уживались на одном дворе. Каждой вновь образующейся семье строили на дворе особую клетушку, и только эта клетушка была собственностью (и то не полной) малой семьи; всё остальное имущество считалось принадлежащим большой семье, как совокупности всех малых. Все члены семьи подчинялись одному старику, который распоряжался общим имуществом и судил, и рядил возникающие в семье неувольствия, споры и ссоры. Да и ссор-то почти никаких не было: не из-за чего было ссориться. Работали все одинаково и имуществом пользовались одинаково. Совсем не то теперь. У Афанасия Иваныча

⁵ Это было лет шестьдесят тому назад, когда в нашем крае духовенство было выборное.

пример перед глазами – соседская семья, в которой идёт постоянное воровство. Женатый сын и его жена крадут, потому хотят уйти из семьи; дочь крадёт потому, что ей надо с чем-нибудь выйти замуж; неженатый сын – потому, что ему надо жениться; старуха-мать – потому, что «кто ж её будет на стрости кормить?» и т. д. Постоянно ссоры, ругня, драки.

Афанасий Иваныч не был безусловным поклонником старины; он знал и в старых порядках много дурного. Но там дурное вознаграждалось хорошим. Но, чтобы чем-нибудь вознаграждались нынешние безобразия, этого Афанасий Иваныч не видел.

Разобравши подобным образом все явления деревенского обихода, Афанасий Иваныч пришёл к тому выводу, что «везде один разврат». Само собою, что его простой ум не мог удовлетвориться одним отрицательным выводом и тут же поставил вопрос: неужто всё так и будет?

Решить этот вопрос Афанасий Иваныч, однако, не успел, так как этому помешали два события, случившиеся в Шалашной и изменившие всю жизнь Нелюдимца. События эти были катастрофа с «бабушкой-генеральшей» и неожиданное знакомство шалашниковцы с принадлежащим им «правом» – ссылать самих себя.

II. Бабушка-генеральша

I.

Бабушка-генеральша представляла собою едва ли не единственный пример генеральши, получившей свой титул не по мужу, а, напротив, предавшей мужу титул генерала. Единственной являлась бабушка и в том отношении, что генеральский чин ей был пожалован не «подлежащим начальством», а «миром», сходом всех казаков станицы Шалашной. Это небывалое в русской истории событие ещё не занесено ни в одну летопись, а потому не лишне рассказать о нём.

Это было давно, лет пятьдесят тому назад. Бабушка была тогда ещё молодой казачкой с чёрными бровями и длинной косой, прельщавшей всех молодых казаков станицы Шалашной. Шалашная была тогда

только что населена выходцами из станиц всего северного Кавказа и представляла собою крайний пункт русских поселений, за которым начинался уже враждебный русским край кавказских горцев. Постоянные набеги горцев, нападавших на казаков, занятых полевыми работами, угонявших станичный скот, а иногда врывавшихся и в самую станицу, вызывал в жизни населения Шалашной своеобразные привычки и обычаи. Самая станица была обнесена со всех сторон насыпью, на которой был нагромождён колючий терновник. У двух ворот, которые были устроены для сообщения станицы с внешним миром, днём и ночью стояла сильная стража. Полевые работы и пастьба скота производились под прикрытием отрядов вооружённых казаков, и, кроме того, каждый из принимавших участие в полевых работах имел в запасе ружьё и кинжал. Вокруг станицы постоянно ездили «разъезды», высматривавшие, не спрятались ли где-нибудь в «балке» черкесы, а по возвышенным местам постоянно стояли сторожевые пикеты. Постоянная опасность, постоянная необходимость боевой защиты приучили всё население владеть оружием. Малолетние дети, вместо игры, занимались стрельбою в цель из пистолетов. Женщины и девушки ловко владели ружьями и отлично справлялись с самыми дикими верховыми лошадьми. Смелость, мужество и бесстрашие — таковы были главные достоинства молодых казаков, и эти же качества более всего ценились в девушках-казачках.

Однажды лазутчики (шпионы) донесли, что черкесы готовятся произвести нападение на соседнюю с шалашной станицу Николаевскую. Шалашниковцы как добрые соседи порешили оказать всевозможную помощь николаевцам. В поход были отправлены все силы, которыми располагала Шалашная. Дома остались только старики, дети, женщины да небольшая горсть казаков, оставленных «на всякий случай». Никто не ожидал, что Шалашной может угрожать какая-нибудь опасность. А между тем случилось так. Донесли ли лазутчики ложно относительно намерения черкесов напасть на Николаевскую, или черкесы сами переменили своё намерение, только вместо Николаевской нападению подверглась Шалашная.

День был праздничный, летний. Ничего не подозревавшие шалашниковцы повыходили на улицы и наслаждались, каждый по-своему, летним солнцем и чистым воздухом. Старики сидели на завалинках и

вели медленные беседы о том, как «в двенадцатом году граф Платов рушил французов», или о «грузинском князе Цицианове». Девушки водили шумные хороводы и звонко пели весёлые песни. Дети с гиком и свистом носились по станице, разделившись на две враждебные партии и производя примерные «сражения».

Вдруг в станицу прискакал на взмыленной лошади пикетный казак и, едва переводя дух, сообщил страшную новость.

– Беда! Черкесы идут... валмя валят... видимо-невидимо... Егор поскакал к нашим, в Николаевку, – они послали за ним вдогонку целый десяток...

Все были ошеломлены. Старики что-то шептали и только разводили руками; дети бросились прятаться; девушки готовились бежать в церковь, в надежде, запершись там, «отсидеться». Все бегали как угорелые. Поднялся крик, плач, стон. Паника была всеобщая...

В это время и выдвинулась вперёд молодая казачка Степанида. Верхом на коне она летала по станице и везде останавливала панику.

– Есаул, ты хуже пьяной бабы! – кричала она. – Вели бить тревогу... Парни! и вам не стыдно? Бегите к воротам... Девки, бабы, вы ошалели, что ли?! Берите ружья да ступайте к «валу»...

Через четверть часа вся внутренняя сторона станичной насыпи была усеяна женскими фигурами, державшими наготове заряженные ружья. Возле стояли старики и старухи, которые обязаны были заряжать и подавать молодым героиням ружья.

Через полчаса показались черкесы. На всех рысях неслись они прямо на станицу, не ожидая встретить никакого отпора. Как вдруг дружный залп сотен ружей свалил многих из них, смутил остальных и обратил всех в позорное бегство...

Возвращавшиеся в тот же день шалашниковцы, узнав о поведении Степаниды, всем сходом порешили величать её «майоршей».

.....

Прошло сорок лет. Русские владения расширились, и Шалашная, бывшая большим военным пикетом, обратилась в обыкновенное русское село, находящееся вдали от всех военных ужасов и тревог. Героические времена прошли, и началась мирная деревенская жизнь с обычными ей радостями и тревогами...

В это время, сосед шалашниковцев, богатый землевладелец, за-

хватил у них прекрасную балку, дававшую шалашниковцам лучшее сено. Долго судились шалашниковцы; просили о защите ближайшее начальство, посылали ходоков и к высшему. Всё было напрасно: суды решали дело в пользу захватчика; ближайшее начальство тоже держало его руку; ходоки, насидевшись по тюрьмам, частью возвращались в Шалашную «этапным порядком», частью пропадали без вести. Шалашниковцы отчаялись и уже хотели было махнуть рукой на балку. Но тут выступила на сцену «майорша», бывшая уже шестидесятилетней старухой, и предложила миру «постоять» за него. Мир дал согласие, и «майорша», исповедавшись и причастившись, отправилась в дальний путь, к «самому что ни на есть большому начальнику» — к начальнику края.

Долго странствовала «майорша». Много горя испытала она за это время: побывала в «частях» и тюрьмах; понатолкалась в передних разных лиц и особ; не раз была выталкиваема в шею из разных мест и присутствий. Всё перенесла «майорша» — и, наконец, добилась своего: начальник края выслушал её, увидел всю несправедливость захвата землевладельцем балки, приказал пересмотреть всё дело и уверил «майоршу», что дело будет решено в пользу шалашниковцев. С этою радостною вестью вернулась «майорша» в Шалашную и была произведена сходом в генеральши. С этих пор она иначе и не называлась как бабушка-генеральша.

Много и других услуг оказала бабушка-генеральша шалашниковцам. Вот, например, одна из них. Шалашная стоит в безводной степи. Жители этой местности, чтобы иметь хоть какую-нибудь воду, прибегают к следующему: перегораживают насыпью степные балки и получают таким образом запруды, в которые собирается вода, стекающая весной при таянии снега с боков балки; сюда же собирается дождевая вода. Вода эта стоит целое лето, гниёт, покрывается зелёными водорослями, кишит мириадами всевозможных живых существ, головастиками, водяными насекомыми и инфузориями. Зачастую в этой запруде целое лето мочится конопля. Вонь от таких запруд невыносимая. И эту-то воду пьют люди и скот. Неудивительно поэтому, что летом в этой местности постоянно свирепствуют разные эпидемические болезни: сибирская язва, кровавый понос и др. Особенно усиливаются эти болезни во время покоса и жатвы. Дело в том, что

полевые работы происходят в этой местности вдали от жилья, иногда вёрст за 20, 30 и даже 40. Крестьяне принуждены брать на поле воду с собою. Испорченная вода, стоя целую неделю в бочке под палящим летним солнцем, делается такою отвратительною, что её может пить буквально только умирающий от жажды... И вдруг, в эту безводную степь явились немцы-колонисты и устроили около своих поселений прекрасные колодцы. К немцам пошла масса народу с просьбой открыть секрет нахождения ключей. Немцы по какому-то странному эгоизму упорно скрывали эту тайну. Шалашниковцы обратились с просьбою к генеральше, и она выручила их: долго жила она среди немцев, сблизилась с наиболее влиятельными из них, и они открыли ей способ, посредством которого узнавали присутствие воды на известной глубине почвы. Скоро вокруг Шалашной появилось несколько колодцев с пресною водою – и теперь шалашниковцы болеют вдвое меньше прежнего. Узнали про это соседи шалашниковцев и кучами повалили к генеральше с расспросами насчёт секрета. Но она, исполняя данное немцам слово, тоже отказывалась открыть кому бы то ни было секрет, обещая сделать это только перед смертью...

Да, Бабушка-генеральша вполне заслужила пожалованный ей шалашниковским миром титул.

II.

Пишущий эти строки познакомился с бабушкой-генеральшей в тот год, когда Афанасия Ивановича одолели разные вопросы. По обстоятельствам мне пришлось прожить целое лето в Шалашной, и я в это время сошёлся очень близко с генеральшей.

Несмотря на свои семьдесят лет, она была ещё бодрая. Жила она одна, так как вся её многочисленная семья – муж, дети и внуки – вымерли во время бывшей в пятидесятые годы холеры. Несмотря на свою общительность, она не хотела поселиться у кого-нибудь из своих односельчан, хотя многие изъявляли желание взять её на своё попечение.

– Ну, вот, зачем? – говаривала она в таких случаях. Мне самой хочется хозяйкой быть; а в чужом-то дому живо скажут: знай сверчок свой шесток... Нет уж, пока руки не отнялись, ещё похозяйничаю...

И она вела полное хозяйство: сеяла небольшое количество хлеба, держала пару волов, корову и с десяток овец. Все работы по хозяйству она исполняла сама, и только более трудные – пахота и косьба – исполнялись ей «помочью». Шалашниковцы вообще охотно помогали генеральше, но она, по мере возможности, избегала этой помощи и старалась всё делать сама. Любовь к труду она имела необыкновенную: ей было скучно, когда она не была чем-нибудь занята. И она постоянно старалась «быть в работе»: то хлопотала по двору, ухаживая за птицею и другою мелкою живностью – поросятами, телятами, овцами, то бежала в огород и там что-то полола или копала, то сидела и что-нибудь шила или вязала. Особенно любила генеральша полевые работы: несмотря на свою ветхость, она сама сжинала весь хлеб со своей полосы и с грустью сожалела, что теперь она не в силах пахать. Она с любовью вспоминала то время, когда могла потягаться с любимым пахарем Шалашной и не уступала в верховой езде самым лучшим наездникам села...

Неудивительно, что при таком трудолюбии генеральши дом её был «полною чашею». Чего только не было у неё на дворе, в амбарчиках, сарайчиках и закутах?! Генеральша с гордостью говорила, что она ни за чем не ходит к соседям, тогда как соседи постоянно бегают к ней с просьбами: то вил деревянных попросят, то кадушку, то дроги... Вообще, генеральша жила зажиточно: изба у неё была просторная, дворовые постройки широкие и прочные, скота и всякой живности вволю. Она не только не терпела ни в чём нужды, но даже, напротив, имела небольшой капиталец, из которого делала ссуды нуждающимся шалашниковцам.

Она отнюдь не была кулаком-ростовщиком: она не брала с своих должников никаких процентов. Уж сами должники «из совести» благодарили её тем, что оказывали какую-нибудь услугу – помощь в её хозяйстве. Впрочем, даже и эти услуги не были нисколько обязательными, а иногда генеральша и прямо отказывалась от них, если видела, что должник сам едва управляет со своим хозяйством. Вообще отношения генеральши к её должникам были очень упрощённые. Она давала займы всем, без всякого залога, без расписок, веря единственно «на совесть». Роль расписок, записной книги и тому подобно-го исполняла у неё клюка, на которую она опиралась. На клюке этой

она, посредством черточек, кружков и крестиков, отмечала «так, для памяти», сколько кто ей должен. Она отлично помнила, где отмечен долг Кузьмы, а где Ерёмы. По мере того, как она получала долги, она срезала соответствующие отметки и таким образом расчищала место для новых отметок.

Отношения генеральши к шалашниковскому «миру» и отдельным членам его были самые патриархальные. «Мир» чтит и уважал генеральшу как за её прошлые заслуги перед «миром», так и за её хорошие качества. Случалось, что «мир» иногда занимал у неё небольшие суммы, которые возвращались ей в таком случае в самом непродолжительном времени. Иногда «мир» обращался к генеральше за разными справками и советами, особенно когда дело касалось запутанных отношений шалашниковцев по земле: она, как человек старый и принимавший участие в мирских делах, отлично помнила, как было то или другое дело тридцать или сорок лет тому назад. Вообще, опытность генеральши, скопленные ею в течение долгой жизни знания приносили немалую пользу шалашниковцам. Она знала, как лечить скот, умела вынимать языком из глаза соринку, могла научить печь хорошо пасхи. И за всем к ней шли, обо всём с ней советовались. Кричит ли у бабы целые ночи ребёнок, угнали ли у кого сына в солдаты, развалилась ли печь, обрубил ли мужик топором ногу – везде побывает бабушка-генеральша, везде она утешит, везде научит, как и что сделать.

И любили же её за всё это. Бабы постоянно прибегали к бабушке справиться, не нужно ли ей чего, нельзя ли ей чем-нибудь помочь? Они пололи ей гряды на огороде, помогали стирать рубахи, доили за неё корову. Мужики наперебой шли к генеральше на «помочь» – вспахать землю или накосить травы. Зимой, когда степной буран заносил всю Шалашную, мужики, отрыв свои избы, спешили тотчас же отрывать генеральшу. «Мир», отведя генеральше участок земли, освободил её от соответствующего количества податей.

На всех пирах, во время всех торжеств, генеральша была самым почётным гостем. Её любили приглашать в кумы: половина села была её крестниками. Когда женился парень или выходила замуж девка, не имевшие матери, обязанности посажёной матери на свадьбе исполняла непременно генеральша.

Такою же патриархальностью отличались отношения генеральши к

её должникам. Она никогда не прибегала к крутым мерам для взыскания долгов; да это даже было немислимо при её характере и её понятиях. Она и не требовала денег, если видела, что человеку не под силу возвратить их.

– Пусть поправляется, – говорила она обыкновенно, – зачем теснить человека? Надо по-божески...

И она терпеливо ждала, пока человек «справится» и будет в состоянии уплатить долг. Но если она видела, что должник может отдать деньги и тем не менее не отдаёт, тогда происходила одна из тех сцен, которыми было полно «старое» время и которые решительно невозможны в деревне в настоящее время.

Бабушка-генеральша собирала несколько ветхих стариков и старух и с ними отправлялась к избе недобросовестного должника. Ключкою своею стучала она в окно избы, и когда должник выходил, она грозно подняв одною рукой ключу, а другою нож, кричала:

– Хочешь, срежу?

Срезать с клюки кресты и кружки, которыми записан был долг, значило совсем отказаться от получения долга, и вот этим-то отказом генеральша и грозила. Осрамлённый должник падал генеральше в ноги и умолял:

– Не срезай, бабушка! Отдам, верь совести, отдам!

И действительно, долг возвращался в самом непродолжительном времени. Вообще, бабушкины деньги никогда не пропадали: несмотря на то, что она не брала никаких документов, с нею расплачивались самым честным образом.

III.

Меня крайне интересовали отношения, установившиеся между бабушкой-генеральшей и шалашниковцами. По правде сказать, меня всего более занимал вопрос: почему среди шалашниковцев не найдётся никого, кто, воспользовавшись простотою генеральши, ограбил бы её самым мошенническим образом? Как ни странен этот вопрос, он естественно должен был возникнуть при знакомстве с шалашниковскою жизнью. Дело в том, что старый строй жизни, основанный на принципах – «по-божески» и «по равнению» – в Шалашной уже раз-

ложился и заменился чем-то таким диким, чему ни один из шалашниковских стариков не мог подобрать другого названия, кроме «денного грабежа». В общих чертах положение в Шалашной было таково:

Всё население Шалашной делилось на две неровные части: меньшинство состояло из сельских властей, притча, сельского купца Распоясова и десятка кулаков; к большинству принадлежало всё остальное население села. Суть жизни меньшинства может быть сконцентрирована в одном слове – «подай!». Жизнь большинства слагалась из забот о том, чтобы вовремя «подать». Были, правда, отдельные личности, состоявшие вне большинства и меньшинства: они не принадлежали ни к числу эксплуататоров, ни к числу эксплуатируемых. Но, во-первых, таких личностей было немного – человек пять-шесть на всю Шалашную – и потому они нисколько не изменяли общей картины шалашниковской жизни; а во-вторых, это были «нелюдимцы», как называли их шалашниковцы: люди, как Афанасий Иваныч, ушедшие из деревенского «мира», ушедшие в себя...

Старшина, вечно кричащий «подай подати» и сажающий неплательщиков в холодную, Распоясов, «на законном основании», на основании «форменных расписочек», отбирающий скот, кулаки, отнимающие за «должок» «земельку» – все эти явления положительно оглушили шалашниковца. Испуганный грозным окриком начальства, постоянно дрожа за свою «коровёнку», «лошадёнку» или «земельку», шалашниковец все мысли, все заботы, все стремления своей души направил на исполнение требований старшины и стоящих за ним властей, с одной стороны, и Распоясова с кулаками – с другой. Шалашниковец недоедает, урезывает порции своих детей, грызётся с соседом из-за каждой копейки, унижается, пускается на всякие «штуки» – лишь бы как-нибудь сколотиться для уплаты того, что с него требуется. Иначе нельзя: не уплати шалашниковец податей, его выпорют и, кроме того, продадут у него последнюю скотину; не уплати он Распоясову, у него опять продадут последнее имущество, да, кроме того, Распоясов не даст весной денег на хлеб или на уплату податей. И шалашниковец ожесточился; он не «жалеет» ни своих детей, которые «съедают лишний кусок хлеба», ни «мирян», которые отбирают у него грошовый заработок. И вот, под влиянием этой необходимости защитить во что бы то ни стало копейку, начался процесс разложения, с

одной стороны, прежних форм жизни, начиная с семьи и кончая «миром», и с другой – нравственно-правовых понятий шалашниковца, на которых он доселе строил свои отношения с ближним. Этот процесс разложения ускорился ещё от проникновения в шалашную городских понятий. Этот чуждый доселе Шалашной элемент был занесён туда властью имеющим и зажиточным меньшинством шалашниковского населения. Мало-помалу в сознании шалашниковцев, рядом с «законом», основанном на «совести», стало возникать понятие о другом, «бумажном» законе; мало-помалу шалашниковцы начали думать, что «по нынешним временам» бумажный-то закон важнее обычного, что «расписочки», «условьица», «документики» надёжнее слов: «по совети», «Бог-то, он видит» и т. п. В бытность мою в Шалашной всё это было ещё далеко не ясно в шалашниковских умах; происходила ещё борьба между старыми и новыми понятиями; но, тем не менее, уже было заметно, что суровая действительность поможет новым одержать верх.

Возвращаясь теперь к вопросу, почему генеральша доселе не была ограблена, я должен указать на некоторые подмеченные мною черты состояния шалашниковской души. Шалашниковцу нисколько не был приятен «денной грабёж», заменивший прежний строй жизни. Если суровая нужда заставляла его всячески стараться «урвать», хотя бы и на счёт ближнего, то этот процесс «урывания» вовсе не доставлял ему удовольствия. Ему приятнее было бы жить по старине, «по милу, по любу». И он с удовольствием вспоминал старину и с тяжёлым вздохом говорил: «Допрежь куды лучше было!». Иногда это неопределённое отвращение к существующему строю жизни и эти неопределённые сожаления о старой лучшей жизни переходили в более определённый вопрос: «да неужто теперь нельзя так-то, по-старинному?». Но нужда, суровые требования жизни не давали развиваться подобным вопросам и заглушали их. Шалашниковцу оставалось одно утешение – кабак...

Это то уважение к старине, олицетворявшей собою для шалашниковца всё, что только он мог представить себе хорошего, и было причиною того, что ни одному шалашниковцу и в голову не приходило, что генеральшу можно «объегорить». Она представляла собою остаток старины, живой памятник лучших времён – и шалашниковцы дорожили этим памятником, берегли его как зеницу ока.

Но понятно, что при новых условиях жизни долго продержаться так не могло. Чем сильнее новые условия давали знать о себе, тем становилось меньше надежд на то, что прежние отношения между генеральшей и шалашниковцами останутся неизменными. И действительно, в конце лета, которое я прожил в шалашной, произошёл случай, сразу нарушивший эти отношения и вместе с тем уяснивший многое шалашниковцам насчёт «нонешних времён».

IV.

Шалашная стоит вне всяких почтовых сообщений и потому для сношения с внешним миром должна содержать своего особого «корреспондента». Обязанности «корреспондента» состоят в том, чтобы два раза в неделю отправляться за сорок вёрст в город и относить туда на почту посылаемые шалашниковцами письма и казённые бумаги из волостного правления; из города «корреспондент» приносит письма, адресуемые в Шалашную, и бумаги, посылаемые начальством в Шалашниковскую волость. Обыкновенно обязанности «корреспондента» исполняет самый жалкий мужичонко, не способный ни на какую работу – слабосильный, сухорукий и т. п. Жалованье «корреспондент» получает маленькое и вообще едва кое-как перебивается.

Когда я жил в Шалашной, тамошним «корреспондентом» был молодой парень Хопер, по уличной кличке «Журавль» или «длиннобудылый». Это был человек с ужасно длинными ногами и маленькой, необыкновенно впалой грудью. В городе его фигура была бы ещё сносная, но среди плотных и коренастых шалашниковцев он казался очень жалким и невольно вызывал улыбку своею тщедушною фигурою. Над ним в Шалашной смеялись и издевались все, кто только хотел.

Бывая часто в городе, Хопер раньше всех шалашниковцев поддался влиянию городских нравов. Уже давно шалашниковцы начали замечать в нём некоторые особенности, не возбуждавшие сначала ничего, кроме смеха. Так, Хопер ввёл в своём костюме некоторые нововведения: начал носить жилет, которого никогда не видели в Шалашной, так как все шалашниковцы, не исключая и самого Распоясова, ходили в бешметах; добыл откуда-то старые дутые сапоги и произвёл ими

фурор между шалашниковскими ребятишками, которые длинной вереницей бежали за Хопером и не могли насмотреться на его сапоги. Затем Хопер стал употреблять в своей речи новые, никогда не слышанные ранее в Шалашной слова: «конешно», «необразованность», «понятие» и т. п.

– Конешно, при вашей необразованности воспитанному человеку с вами житья нет: ведь вы ни об чём понятиев не имеете, – отрезал однажды Хопер кучке подтрунивавших над ним шалашниковцев.

Те только руками развели, да ещё пуще пустились подтрунивать над ним, обзывая «дылдой» и «длиннобудылым верзилой».

Но, мало-помалу, шалашниковцы стали замечать в Хопре и кое-что такое, что никак не вызывало смеха. Бывая часто в городе, он надумал брать у шалашниковцев на комиссию, для продажи на городском базаре, различные деревенские продукты: творог, масло, яйца, сметану, холст, нитки, мешки, овчины и т. п. Вместе с тем, он брал на себя поручения покупать шалашниковцам продукты цивилизации, которые не всегда были в лавочке Распоясова: подошвы, «гас», т. е. фотоген, ситцы и т. п. Для производства операций такого рода необходимо было иметь лошадь с телегой – и Хопер на занятые у бабушки-генеральши деньги завёл то и другое. Задуманное Хопром дело пошло бойко: шалашниковцы, возившие прежде сами в город какой-нибудь товар на полтинник или ездившие туда за покупками на двугривенный, охотно платили Хопру небольшое вознаграждение за то, что он избавлял их от поездок. Хопер стал зашибать копейку и надумал повести дело ещё проще: он прямо стал скупать деревенские произведения в самой шалашной и возить их на городской базар уже от себя. Дело оказалось ещё более выгодным – и Хопер скоро завёл другую лошадь с телегой и распространил свои операции и на соседние сёла.

Шалашниковцы только диву давались, глядя на то, как Хопер сумел найти новый источник наживы.

– Вот ты, паря, и поди... дурак, да дылда – только и названия ему было, а он, погляди-ка, што... Ведь так, из ничего, а поди, какую деньгу зашиб... Вестимо, умственный человек, не даром постоянно в городе толчётся, да с почтарями дружит...

И, мало-помалу, шалашниковцы проникли таким уважением к «умственности» Хопра, что не только не стали смеяться, когда он,

сбросив окончательно «деревенскую шкуру», стал носить сюртук и говорить невозможным, якобы городским, языком, а ещё, по мере возможности, стал подражать ему.

Вот этот-то Хопер и был причиной разрыва отношений между бабушкой-генеральшей и шалашниковцами.

Хопер не раз занимал у генеральши деньги и всегда расплачивался самым аккуратным образом. В начале зимы, предшествовавшей тому лету, которое я прожил в Шалашной, Хопер уговорил генеральшу дать ему займы почти половину её капитала, рублей около двух сот. Всю зиму Хопер торговал очень бойко, так что к весне, по всем признакам, он мог отдать долг. Но Хопер и не думал о возврате денег. Генеральша терпеливо ждала. Но вот прошла весна, проходит и лето, а Хопер долго не возвращает. Лопнуло терпение у бабушки, и она решила прибегнуть к своему обычному средству – посрамить Хопера.

День был праздничный. Везде по улицам стояла масса народу, от нечего делать лущившая семечки. Поэтому когда показалась бабушка-генеральша во главе нескольких стариков и старух, следом за нею пошла громадная толпа взрослых мужиков, баб, парней, девок и детей. Вся эта процессия остановилась у ворот Хопра, и бабушка торжественно постучала в окно. Вышел Хопер, и между ним и генеральшею завязался следующий разговор:

– Хочешь срежу? – закричала генеральша, подняв над собою клюку и нож.

– Что это вы, бабушка, желаете срезать? – прикидываясь овечкой, спросил Хопер.

– Долг твой хочу срезать...

– Мой долг? Какой же это мой долг?.. Кажись, я ещё никому в долги не заходил... И на счёт того, чтоб вам был должен, что-то как будто из памяти вон...

– Как не должен? Да ведь ты же брал у меня деньги... Ведь вот записано!

– Это что же за вексель? Разве клюка – вексель? На клюку, скажем так, опираются по старости; ну, а чтоб долги на ней писать, это уже не закон, это заведение уж вы оставьте... Вот расписочка-то у вас есть?

– Какая расписочка? – испуганно спросила генеральша и, беспомощно опустив руки с клюкою и ножом, оглянулась на толпу, как бы ища в ней поддержки: «Што это, старички, он говорит?».

Но «старички» и вся толпа молчали. Все смотрели с напряжённым вниманием на Хопра. У многих были даже разинуты рты. Все ждали чего-то страшного, тяжёлого...

– Так чего же ты, непутёвая старуха, – вдруг переменив тон и подперши обеими руками бока, заговорил Хопр, – чего же ты лезешь ко мне с каким-то долгом, коли у тебя нет расписки? Мало ли ты чего не придумаешь!.. Это у вас в старину дураки дураками жили: нацарапает на клюку, да и толкует: «долг, долг!» Нынче, при образовании-то, умные люди не так делают: есть у тебя расписка – значит я должен, нет расписки – не об чем и разговор вести. Ты там на клюке-то своей понаметишь, верь тебе...

И ушёл в свою избу.

Эффект вышел поразительный. На толпу словно столбняк нашёл: все стояли молча и смотрели на то место, где только что стоял Хопр. Все как будто не понимали, что такое произошло. Но, мало-помалу, в головах присутствующих совершился какой-то мыслительный процесс; они поняли и заговорили. И я услышал здесь такие рассуждения, которые привели меня просто в ужас.

– А это он верно: по нынешним временам жить так, как в старину, нельзя. Нонче, коли свести верить, без хлеба насидишься... Нонче не зевай – на то ярмарка...

– И какой продувной это Хопр! Ведь так подвёл, что старуха-то ему целую махину денег отвалила... А всё был «дурак», да «журавель», ан ишь какой вышел – с умом!..

– Н-да... А мы-то умниками считались, да вот без хлеба сидим. А он и дурак – да вот хочет по-городскому хату строить...

И так далее. Словом вся накопившаяся в шалашниковцах под влиянием «нынешних времён» дрянь вышла наружу и сразу закрыла собою всё хорошее, бывшее в отношениях между генеральшей и шалашниковцами.

И замечательно, что не раздалось ни одного слова сожаления об обманутой и так позорно оплётанной генеральше. Речи, подобные приведённым, велись почти всеми присутствующими. Исключение составляли только несколько стариков, да три-четыре «нелюдимца»: они молча, насупившись слушали толки шалашниковцев и также молча разошлись по домам.

А генеральша тем временем медленно шла домой. Она как-то согнулась, съежилась и вообще казалась несравненно старше прежнего. Молча вошла она в свою избу, молча затворилась в ней и ни одним словом не отозвалась, когда я вечером пришёл навестить её и стучал в дверь. Только на другой день мне удалось поговорить с ней. Разговор наш, впрочем, был очень короток. Единственно, что я от неё услышал, это то, что ей «пора умирать».

– Будет, пожила... пора на покой...

V.

И, действительно, бабушка-генеральша умерла осенью того же года. Я, однако, узнал об этом лишь два года спустя, когда судьба снова занесла меня в Шалашную. Здесь первое лицо, которое я встретил по выходе с постоялого двора, был Хопер. Он выглядел далеко не тем «дылдою» и «журавлём», каким я знал его прежде. Он потолстел, отрастил небольшое брюшко и вообще смотрел солидным человеком.

Мы поздоровались.

– Ну, как поживаете?

– Да ничего, Бог грехи терпит, помаленечку... корреспонденцию бросил...

– Что так?

– Да некогда: питейное заведение открыл.

– А!...Ну, а что, скажете, моя знакомая, бабушка-генеральша?..

– Померла, два лета как уж померла...

– Бедная старуха! – невольно сорвалось у меня с языка.

– Ну, зачем бедная? Будет с неё – пожила: и так, гляди, чужой век заживала... А вот что была ехидная, так это правда.

– Как ехидная?

– Да так, ехидная... Обещанье дала, что перед смертью скажет на счёт воды, как её находить... И не сказала...

– Неужели не сказала?

– Верное слово, нет... И наши-то около неё увивались, и из соседних сёл приходили – не говорит...Мы уже попа натравили, тот усвещевал. Только она ему и говорит: «Не стоят они, идолы, того, чтобы хорошую воду пить: не по правде живут... Пусть же пьют грязь», – с

тем и умерла... Такая ехидная старушонка!..

Мы помолчали.

– А ведь и вправду придётся пить грязь, – начал опять Хопер.

– А колодцы, что генеральша устроила?

– Да засорились.

– Ну, почистить их разве нельзя?

– Да как их почистишь: я-б почистил один какой-нибудь – так разве я один из него буду воду брать? Нарочно все привалят к чистой-то воде...

– Ну, а сообща почистить, всем обществом?

– Ишь ты, чего захотел! У нас, брат, сопча-то только пьянствуют. Вот как пропивали бабушкину худобу – ну, так тут уж дело шло «миром», сопча...

– Как же это так пропивали бабушкину худобу?

– А так: ведь, у ней родных-то не осталось – худоба-то пошла в мир. Куда её девать? Пропить. У меня ж в кабаке и пропили...

III. Особое «право»

I.

История бабушки-генеральши произвела на Афанасия Ивановича страшное впечатление. Все шалашниковцы опротивели ему до такой степени, что он всячески избегал встречи с ними. В каждом односельчанине он теперь видел злодея. Его мысль, питаемая одиночеством, болезненно работала над обступившими его со всех сторон вопросами и сводила решение их всех к одному: «Отца родного продадут». Эта фраза повторялась им и тогда, когда он, проезжая с поля и на поле по селу, видел на каждом шагу доказательства разложения старьё порядков, и тогда, когда он с пылающею головою по целым ночам ворочался на своём жёстком ложе под навесом.

Жена Афанасия Иваныча была далеко не из тех женских натур, которые во всём следуют за мужьями. Когда Афанасий Иваныч заговорился дома от всех, она не только не прекращала сношений с соседками, но ещё усилила их. Набегавшись по чужим дворам, она

возвращалась нагруженная богатым запасом новостей, которые и общала мужу и детям Подлаживаясь под настроение мужа, она чаще всего останавливалась на новостях мрачного рода. Василия Чёрного сыновья за волосы из хаты на улицу вытащили; у Москвитиних дочь девку родила, вдове Прокопенчихе «мир» отказал в земле на том основании, что она бездушная, и т. д. Муж слушал и ещё более укреплялся в своём отвращении от однодеревенцев.

Как-то Афанасий Иваныч возвращался поздно вечером с поля, усталый и сердитый. Не успел он въехать на двор, как к нему подскочила жена.

– Слышал? Антошку-то в Сибирь сошлют!..

– Как сошлют? – удивился Афанасий Иваныч.

– А так и сошлют, миром...

– Да ты что, очумела, верно? Разве мир может ссылать?

– Сам ты, видно, ополоумел! Сходи на сход, вот и увидишь, что я говорю правду.

– Тьфу, баба! – сплюнул Афанасий Иваныч и поехал под сарай.

«Сказано – сорока стрекочет», – думал он, распрягая лошадь. Но тут же подумал: «а, може, и взаправду? С них станется: сказано – разбойники!». В конце концов сообщённая женою новость так заняла его, что он чуть было не забыл положить корму своей верной сивке и, только ложась спать, вспомнил о своём промахе и поспешил заглядеть его. Засыпая, он порешил сходить завтра на сход.

Следующий день был воскресный. Утро было светлое, небо чистое. Через несколько времени после обедни, перед зданием, на котором красовалась заржавевшая от времени и издававшая при каждом движении воздуха пронзительный визг вывеска, гласившая: «шалашниковское сельское правление», стояла громадная толпа народа. Это не был обыкновенный сельский сход, ибо на сход собираются погалдеть одни только домохозяева. Здесь же были представители обоих полов и всех возрастов, вернее сказать – высыпало всё шалашниковское население. Впереди, перед самым крыльцом правления, стояли седые как лунь старики, давно не посещавшие сходов, и солидные большаки; прямо за ними расположились бабы в классических позах, т. е. подперев рукою щёку; по бокам стояла шалашниковская молодёжь: на одной стороне парни в сапогах, щедро смазанных духовитым дёгтем,

а на другой – девки в праздничных разноцветных платьях, и, наконец, по всей площади рассыпались, цепляясь за отцов и матерей, братьев и сестёр, молодые шалашниковские поросли – ребятишки и девчата.

Над всей толпой царило торжественное молчание. Шалашниковские бабы, в другое время пользовавшиеся языками без зазрения совести, теперь дали им отдых. Не слышно было даже лусканья семечек, составляющих необходимую принадлежность шалашниковского праздника. Все, видимо, прониклись сознанием важности минуты и постарались придать своим лицам подобающее выражение. Центральная группа стариков и средняков стояла, опершись на палки и опустив глаза вниз. Бабы уныло глядели на центр и, время от времени, тихонько вздыхали, а некоторые даже крестились. Парни и девки только украдкой поглядывали друг на друга. Даже мелюзга, и та затаила дыхание.

Одним словом, при первом же взгляде на толпу, было ясно, что готовилось совершиться что-то чрезвычайно важное или, по крайней мере, необыкновенное для шалашниковцев. И, действительно, в этот день шалашниковское общество намеревалось в первый раз воспользоваться своим правом «исключать из своего состава порочных членов и пердавать их в распоряжение правительства», т.е., говоря проще, – правом ссылать своих членов в Сибирь.

Никогда ничего подобного не было в Шалашной. Шалашниковцы даже не подозревали, что они обладают подобным правом. Ссылка в Сибирь была для Шалашной вещью очень знакомой: не мало шалашниковцев ушло «по владимирке»: тут были и преступники, и жертвы так называемых деревенских «недоразумений». Но шалашниковцы всегда видели, что ссылкой в Сибирь занимается начальство. Подедутся, например, двое пьяных шалашниковцев, и один «не потрафит», «перепустит», «угодит не в то место», отправит противника на тот свет, – приедет следователь, произведёт дознание, заберёт с собою в город «перепустившего» мужика, а там его подержат сперва в остроге, а потом отправят в Сибирь. Произойдёт «недоразумение» между шалашниковским обществом и господином становым приставом – опять наезжает начальство, забирает «зачинщиков» и «подстрекателей», подержит в остроге и отправляет в Сибирь. Роль шалашниковского общества во всём этом ограничивалась тем, что оно поставляло

материал для ссылки, вязало это материал и отвозило его на своих подводах в город.

И вдруг шалашниковцы узнают, что их «мир» может сослать своих членов сам, помимо велений и желаний начальства. Открытие это сделал Хопер, и вот по какому поводу.

Когда в Шалашной водворились «новые порядки», из беднейшего большинства её населения выделилось несколько человек, которые не имели буквально ничего, но зато и не боялись буквально ничего. Звали в Шалашной подобных людей «голопятыми» и «оголтельными». В описываемую эпоху в Шалашной таких «голопятых» было сравнительно немного – всего пять человек; но, несмотря на свою малочисленность, они давали себя знать. Если в будничный день на улице раздавался дикий рёв. То это значило, что по улице шествует «голопятый». Если пропадала какая-нибудь вещь, то это значило, что она украдена и снесена к Хопру в кабак «голопятым». Особенно доставалось от «голопятых» так называемым «обстоятельным мужикам». Без церемонии вламывается к ним в хаты «голопятый» и орёт: «ты от меня попользовался – купи за три рубля мою лошадь, подавай же мне на водку!» или: «я тебе три года даром работал, давай хоть на косушку!» И обстоятельный мужичок лезет в карман и даёт на косушку, приговаривая: «На, на! только уйди от греха!..»

«Голопятый» – пропащий человек; у него, как говорится, ни кола, ни двора. Жизнь его – или пьянство, или тоска по водке; будущность – стореть от водки или быть раздавленным телегою, валяясь где-нибудь ночью на дороге. Словом, он – ничтожество. Нов то же время, он и сила: «голопятому» ничего не стоит украсть, пустить «красного петуха» и даже убить человека. В остроге или в Сибири жизнь его будет нисколько не хуже настоящей – чего же ему бояться? И «голопятый» не только не боится никого, но и сам внушает всем страх: его кормят и поят, и даже сносят всевозможные издевательства, которые позволяет себе «голопятый».

Из пяти шалашниковских «голопятых» четверо были народ более или менее смиренный: они добывали себе корм или просьбами «Христа ради», или подсобляли кому-нибудь по хозяйству; пьяны были не более половины дней в году, и пьяные были смиренны, не лезли в драку и разве только позволяли себе ругаться. Сосем иными качества-

ми отличался пятый «голопятый». Несколько лет тому назад это был хороший, работающий мужик, если и не особенно зажиточный, то, по крайней мере, стоявший далеко от той последней ступени бедности, на которой он находился теперь. Величали его тогда Антоном Иванычем и считали мужиком добрым и рассудительным. Рассудительность его пользовалась даже некоторою известностью и на сходах его голос выслушивался внимательно. Разорил его «случай» (в Шалашной все от «случаев» разоряются): повёз он в дождливую погоду в город муку; на одном из спусков, самом крутом, почти вертикальном, лошадь его оступилась, и он вместе с возом и лошадью полетел вниз в лощину. В результате получилось: лошадь сломала передние ноги, мука рассыпалась и смешалась с грязью, а сам Антон с раздавленной грудью лежал на спине среди лужи. Здесь он лежал до самого вечера, когда его подобрали и привезли домой возвращающиеся с городского базара соседи. На утро в избу Антона собрались шалашниковцы, пожалели Антона, подивились, как это они, ездившие тысячу раз по опасному спуску, доселе не догадались привести его в маломальски порядочный вид, затем разошлись и забыли и про Антона, и про спуск. Целых два года болел Антон; семья его питалась в это время тем, что продавала различные принадлежности хозяйства, и так как покупателей было только двое – купец Распоясов да кабатчик, которые поэтому давали цены ни с чем несообразные, то нет ничего удивительного, что когда Антон поднялся на ноги, у него не оказалось ни движимой, ни недвижимой собственности, кроме жалкой хатёнки, да и эта последняя за какие-то долги «подлежала» Распоясову. Нужно было заводить сначала всё хозяйство; но, во-первых, не было у Антона прежних сил, а во-вторых, не с чего было начать. Бросился было Антон по своим прежним благоприятелям, но те только ахали, да высказывали свои сожаления, а помощи никакой не оказывали. Озлился Антон и стал пить: жена его сперва кое-как перебивалась, но потом, измучившись, ушла в другое село, откуда она была взята и где у неё оставался холостой брат, и увела с собой детей. Антон спился окончательно и стал в ряды «голопятых». Из Антона Иваныча он обратился в Антошку.

От своих товарищей он отличался необыкновенною злостью. Ругался так, что даже привычному шалашниковскому уху становилось жутко. Не было такой мерзости, которой он не мог бы выкинуть. Раз

к купцу Распоясову приехала городская родственница, дебелая купеческая дочь, считавшая своею обязанностью на каждом шагу громогласно удивляться «мужицкому невежеству». Антошка, услышавши об этом, сказал: «я тебе покажу невежество!» и в один прекрасный вечер, когда городская барышня сидела на крыльце Распоясовского дома, он явился откуда-то перед нею, в чём мать родила, и произнёс: «госпожа купчиха! позвольте с вами разговор иметь». Подобные проделки оставались безнаказанными, так как своим безумным и злобным взглядом Антошка невольно внушал боязнь к себе и заставлял ожидать от себя всего; а безнаказанность делала его ещё смелее. При этом, во всех его поступках была своего рода тенденция: жертвами Антошкиных мерзостей были всегда Распоясов, кулаки и т. п. люди, нелюбимые всем шалашниковским населением. Поэтому Антошку любили все шалашниковцы, исключая, конечно, тех, на кого обрушивались его выходки; его охотно кормили, пускали ночевать и снабжали остатками одежды. Иногда шалашниковцы пользовались им для того, чтобы насолить какому-нибудь шалашниковскому патрицию. Распоясов выдавал замуж свою дочь и устроил пирушку; шалашниковцы подбили Антошку появиться под окнами освещённого Распоясовского дома и заорать: «эй ты, душегуб! Ты что-ж это: на наших хребтах выстроил себе дом, а на свадьбу нас не приглашаешь? Давай четверть водки, не то стёкла побью!»... Гости Распоясова переполошились, сам он позеленел от злости, но счёл за лучшее уступить Антошке...

С Хопром Антошка сперва ладил, так как сбывал ему за водку то, что ему давали доброжелатели и что он стягивал у недоброжелателей. Но раз как-то Хопер посмеялся над Антошкой, и тот в отместку ему совершил что-то неслыханное. Хопер страшно рассердился и порешил уничтожить Антошку. Боясь, однако, действовать прямо, он счёл за лучшее подыскать какой-нибудь обход. С этою целью он отправился в город посоветываться с одним своим приятелем, законником.

П приятель Хопра называл себя «деревенским человеком» в том смысле, что кормился за счёт деревни. Он писал мужикам прошения, подавал им юридические советы, расписывался за безграмотных в разных присутственных местах и т. п. Для придания себе большей важности, а также для увеличения своего гонорара он носил всегда с собою старенький портфель и был всегда при манишке, хотя, надо

правду сказать, манишка эта цветом своим мало чем отличалась от его чёрного сюртука. Однако, несмотря на более или менее представительную внешность, его крючковаторская душа сквозила в каждом его движении, так что даже Хопер, беседуя с кем-либо о своём приятеле, называл его не иначе, как «крючком». Это был, действительно, настоящий крючок, который, прицепившись к кому-либо, отрывался не скоро. Во всех окружных сёлах у него были приятели вроде Хопра, которые направляли к нему мужиков, имеющих дела в присутственных местах, а он уже «обдelyвал» их.

Разыскавши в городе приятеля, Хопер повёл его в трактир, так как «крючок» подавал свои советы не иначе, как сидя за спиртными напитками, и притом не в кабаке, а в более приличной обстановке пивной или трактира. Когда Хопер рассказал об оскорблении, нанесённом ему Антошкой, и о своём желании так или иначе уничтожить Антошку, крючок ответил, небрежно пропустив в горло рюмку очищенной:

– Ну, что-ж, сошли его в Сибирь!

– Как так, в Сибирь? – удивился Хопер.

– По общественному приговору. В законе сказано, что общество может ссылать порочных членов.

– Неужто может?

– Может. Это очень хорошая статья. Во всяком какой-нибудь порок есть – значит, всякого и можно сослать?

– Всякого? Значит и меня общество может сослать?

– Если захочет, то и меня может.

– Вот тебе и на! однако, хорошо, что у нас об этом законе не знают, а то мне не сдобровать.

– Вона! ты уж и испугался. А ты вот что скажи: у кого в руках ваше общество?

– У Ильи Иваныча, у Нетра Макарыча, ну и у других богатых, и я немного держу.

– Ну, а ты с этими Сидор Макарычами, да Петрами Иванычами приятель?

– Ну ещё бы!.. Тут уж дружка за дружку...

– Так, как же тебя может сослать общество, когда оно у тебя в руках?

– И впрямь! Вишь ты, а я сразу-то и не сообразил...

– То-то и есть. Тебе от этого закона вреда нет, а польза может быть

большая: чуть кто тебя погладит против шерсти, вообще вредный для тебя человек, ты сейчас сговорился с приятелями, да на сход: так и так, вот у нас есть порочный член!... Да съезди когда-нибудь на большой тракт, там по всем сёлам то и дело по общественным приговорам ссылают: как кто против богатеев заершился, так его – марш-марш!

– Ну, брат, спасибо, что надоумил. Нам это очень сподручно будет. Я тебе за это на следующий базар навезу целые вороха деревенского добра!

– Ничего, привози.

В тот же вечер, как только Хопер приехал в Шалашную, он обегал всех кулаков и сообщил им привезённую новость. Кулаки быстро усвоили все наставления «крючка» и порешили не откладывать в долгий ящик применения права общества. Кроме Антошки «голопятого», было ещё несколько личностей, от которых кулаки давно желали избавиться. Это были седые старики, которые умели иногда пристыжать сход и удерживать таким образом шалашниковцев от продажи своих кровных интересов за водку. Нечего и говорить, что кулаки, как говорится, точили зубы на этих стариков и теперь увидели во вновь открытом праве общества средство избавиться от них. Однако кулаки знали, что если они предложат сходу сослать ненавистных стариков, то, как ни велико влияние кулаков на сход, сход на их предложение не согласится. Низко пали шалашниковцы, а искра Божия в них ещё оставалась. Составлять подложные приговоры от имени общества шалашниковские кулаки, по неопытности, ещё не умели. И потому оставалось постепенно приучать шалашниковцев к пользованию новым правом и первый раз предложить к ссылке одно только Антошку.

Совсем иначе отнеслось к делу большинство шалашниковцев. Оно сразу поняло, какую роль может играть в руках кулаков новое право общества. Каждый шалашниковец, сидя дома или беседуя на завалинке с приятелем, отлично понимал, что они – «набитые дураки», так как позволяют кулакам делать на сходах что им угодно. Но когда они все собирались на сход, то словно дурели и забывали все, о чём думали в одиночку или беседовали вдвоём. Сначала они отчаянно кричали и протестовали против предложений кулаков; но потом – особенно, если произносились магические слова: «ведро, два ведра» – махали руками и соглашались на всё. Они предчувствовали, что то же самое

будет и теперь, когда кулаки предложат сослать кого-нибудь, и каждый невольно думал: «нынче Антошку сошлют, а завтра, может, и я на его месте буду!». Таким образом, большинство шалашниковцев было против ссылки, хотя не из-за каких-нибудь принципов, а просто из шкуробоязни.

Нашлись, однако, и принципиальные противники ссылки. Это были, во-первых, старики, жившие традициями доброго старого времени, когда на «кругах» личность ценилась высоко и не могло быть и речи об исключении кого-либо из общества, а тем более о ссылке, и, во-вторых, «нелюдимцы»...

Таким образом, по вопросу о ссылке Антошки образовалась сильная оппозиция, и сход, по поводу этого вопроса, вышел необыкновенно бурным и шумным. Торжественное молчание, царившее в начале, было прервано прежде всех Хопром. Он принёс сперва сходу жалобу на поступок Антошки, а затем рассказал, сколько краденых вещей Антошка приносил к нему в кабак, да он не взял.

– Стало быть, как этот Антошка – пьяница и вор, – заключил он, – и вред от него большой, то закон таких велит сослать в Сибирь на поселение на вечные времена.

Не успел Хопер закончить, как со всех сторон раздались крики:

– Ишь ты, в Сибирь! Тебя бы туда, потому ты первый грабитель и житья от тебя нет!

– Антошка – вор, да кто его воровом-то сделал? Не ты ли? Кабы ты краденого не принимал, не крал бы он.

– Я краденого не принимал, – огрызнулся Хопер, – а ежели он говорит: подарок, почём же мне знать?..

– Туда же ещё пьянством корить, а зачем сам кабак держишь?

– Отчего мужик пьёт, как не от того, что вы его грабите!..

– Ты почём у Антошки-то овец покупал, когда он больной лежал? По полтора? А разве так по-божески можно? Ты его больного грабил, а теперь его в Сибирь?!

– На вечные времена, а?!

Мало-помалу сход так заволновался, что нельзя было разобрать ничего, что говорили деревенские ораторы. Когда волнение несколько утихло, то оказалось, что прения удалились от первоначального вопроса, и теперь шли взаимные попреки между кулаками и остальными шалашниковцами.

– Ты с меня сколько лишку-то взял за десять рублей?

– А сколько?

– А, ты забыл? А есть у тебя на шее крест?

– Ты об кресте мне не толкуй, а говори об деле...

– Я об деле и говорю... Забыл? Ну, так я тебе напомним... Взял ты с меня две мерки пшеницы, да я тебе три дня косил. Сосчитай, сколько это выйдет?..

– Это, брат, ты сам сосчитал бы, когда деньги занимал. Зачем ты приходил за деньгами? Тянул я тебя?

– Нужда, братан, нужда!

– А я виновен что ли в твоей нужде?

– Виновен. Я на что деньги-то занимал? На подати. А отчего с податями не управился? Оттого, что ты летошний год за долг в полцены хлеб у меня отобрал.

– А ты не занимал бы!

– Ах ты, идол! Да разве я у тебя занимал? Мою ж лошадь за недоимки продавали – ты за семь купил, а мне сейчас же за двадцать в долг уступил... бесстыжие твои глаза!

На другом конце схода один кулак стыдил окружающих его шалашниковцев.

– Вас же, чертей, выручаешь, а вы попрекаете!...

– Ишь, благодетель нашёлся!

– Теперь-то ты огрызаешься, а как весною приспичит, прибежишь, в ногах будешь валяться: выручи, мол, Мосеич! А как тебя выручишь, так ты вместо благодарности мироедом величаешь!

– Да за это тебя благодарить? Ведь ты через эти долги кровь нашу пьёшь!

Попрёки продолжались довольно долго. Наконец все уморились, у всех осипли голоса, у всех пересохло в горле. Тогда Хопер, как ни в чём не бывало, возвратился к главному вопросу.

– Так вот я жертвую на «мир» два ведра, только чтобы, значит, сейчас приговор – и Антошку в холодную!

Эта речь, видимо, произвела благоприятное впечатление. Наиболее нетерпеливые любители выпивки тотчас же предложили Хопру вопрос:

– Пить-то к тебе в кабак идти, али сюда принесёшь?

Афанасий Иваныч молчал во всё время схода, но теперь не стерпел и закричал:

– Братцы! Грех вам! Разве Антошка не такой же человек, как вы, что вы его за водку губите?

– Эко ты когда схоянулся! – заговорил один из кулаков, – чего ж ты давче молчал, а теперь лезешь, когда уж пошабашили? Чего он, братцы, лезет? Вон малец уж и за водкой побежал!

Перспектива двух ведер была крайне соблазнительна. К тому же Афанасий Иваныч, отвернувшись от шалашниковцев и отказывая им в соседских услугах, очень оскорбил их и не пользовался теперь никаким авторитетом. Да наконец, Антошка – вор, пьяница, «голопятый» – разве он такой же человек, как шалашниковцы, когда у каждого из них есть, по крайней мере, своя изба? Неудивительно поэтому, что в ответ на слова Афанасия Иваныча отовсюду послышалось:

– И впрямь, чего лезешь? Отказался от мира, ну и не лезь... Ступай-ка лучше домой да сиди на печке!

Но Афанасий Иваныч не двигался. Принесли водку – он как-то странно посмотрел на неё и остался на месте. Стали грамотные входить один за другим в правление для подписи заранее заготовленного писарем общественного приговора; стали затем грамотные и безграмотные пить пожертвованную водку, – Афанасий Иваныч всё стоял неподвижно.

И только когда мужик, разносивший водку, подошёл к нему и спросил: «выпьешь, что ли?», он быстро повернулся и бросился бежать домой.

Шалашниковцев это очень рассмешило, и они начали кричать вслед Афанасию Иванычу:

– Эк ему мирская-то водочка не по вкусу!

– Лови его, ребята!

– Улю-лю!

Ребятишки, видя, что взрослые издеваются над Афанасием Иванычем, бросились за ним и с гиком и свистом проводили до дому.

Но Афанасий Иваныч едва ли что слышал. Он бежал как «оглашенный» и остановился только на своём огороде у скирда сена. Здесь он опустился на землю и пролежал до вечера – без всякой мысли, в каком-то полубессознательном состоянии. Только вечером он вспом-

нил, что нужно напоить лошадь, и отправился было под сарай. Но на полдороге остановился, поглядел на свой двор, на своё хозяйство, и вдруг ему стало всё противно. «Зачем всё это? – подумал он. – Зачем поить лошадь, пахать, косить? Случится несчастье – ногу сломишь, хлеб не уродит – и всё пропало: сопьёшься, как Антошка, да ещё в Сибирь сошлют. Тьфу!..» Афанасий Иваныч плюнул и пошёл спать, оставив лошадь непоенною и не исполненными разные домашние работы.

II.

С этого дня Афанасий Иваныч «задурил»: бросил работу, оставил необранным хлеб на поле, перестал ходить в церковь, стал сторониться своей семьи и, наконец, начал «задумываться». Уйдёт куда-нибудь за село и сидит неподвижно целые дни и всё что-то думает, произнося иногда отрывочные слова:

– Живорезы, одно слово. Съедят, поедом поедят... житья нет... Один грех... Убежать – больше ничего...

От напряжённой умственной работы и от голода – он почти ничего не ел – он страшно исхудал и стал ужасен на вид. Немытый, нечёсанный, жёлтый, с заострившимся носом и подбородком, с воспалённо-блестящими глазами, он наводил страх на детей, которые большими толпами бегали смотреть на него.

В доме Афанасия Иваныча начался плач и стон, он не слышал ничего, не обращал ни на что внимания. Полуголодные дети орали, прося хлеба; обзлённая жена постоянно ругала его, понужая к работе, но ничто не действовало.

– Чего ты, идол, сидишь! Ведь сдохнем с голоду! – кричит жена.

– Ну, и издыхайте, – апатично отвечает он.

– Да, ведь и ты сдохнешь!..

– Ну, что ж!

– Тьфу, идол! – плюнет жена и побежит жаловаться к соведям.

Приходят соседи и уговаривают афанасия Иваныча не «дурить». Он или молча выслушивает их или вдруг огорошивает советчика вопросом:

– Ведь ты людоед?

- Что ты, Христос с тобой? – обижается сосед.
- Да ведь ты Антошку съел?
- Да разве это я? тоже мир...
- А ты на сходе не был? Водку Хопрову не пил?

Сосед молчит.

- Ну, и ступай, откуда пришёл.

Сосед уходит.

Пришёл батюшка.

- Как же это ты, Афанасий? Надо трудиться...

- А зачем я буду трудиться?

- Как зачем? Чтобы есть хлеб насущный...

- А разве я его ем?

- Да как же не ешь?

- А так: ты частицу возьмёшь, староста за подати другую, Распясов третью – много ли мне останется?

Батюшка помолчал.

- Однако, ты – христианин, а потому должен трудиться...

- А ты, батюшка, христианин?

- А то как же? – удивился батюшка.

- Отчего ж ты не трудишься?

Снова молчание.

- У меня сан, – продолжает батюшка, – я пастырь, поставлен блюсти вас. У меня своего дела много. А ты – крестьянин, мужик, должен работать...

- А если я – мужик, да лучше тебя, за что ж я целый век как каторжный буду работать? Это как по-твоему?..

Батюшка обиделся и собрался уходить. На прощанье он сказал:

- Оставь, Афанасий; это гордыня в тебе говорит, бесовские мысли... Не доведут они тебя до добра!

И с тем ушёл.

Кое-как, «с грехом пополам», нанимая рабочих из части, жена Афанасия Иваныча убрала хлеб. Измучившись на работе, она решила просить «мир» «поучить» мужа, который ни в чём не хотел помочь ей. «Мир» внял просьбе жены, которую все видели «вытягивавшею жилы» на работе, и «поучил» Афанасия Иваныча. Молча покорился он решению «мира» и только по окончании экзекуции сказал: «под-

лецы вы, господа старики!» Рассерженный мир не ограничился одной экзекуцией, а посадил его ещё на три дня в холодную и, кроме того, наложил штраф в ведро. Штраф был тотчас же взыскан: с арестованного Афанасия Иваныча сняли сибирку, сапоги и шапку и отнесли в залог Хопру, а водку распили.

Когда через три дня Афанасия Иваныча выпустили из холодной, он бежал из Шалашной и пропал без вести.

IV. Странник

I.

Медленно тянется группа пешеходов по песчаной степной дороге. Пыль окружает путников и столбом стоит над ними. Пылью же покрыты их обувь, одежда и лица.

Конец августа. Страдная пора кончилась; главнейшая часть сельского труда – полевые работы – исполнена, и благочестивые люди начинают отовсюду двигаться на «богомоления». Идут люди, чающие получить от угодников исцеление от своих недугов; идут давшие по какому-нибудь поводу «обещание»; идут, наконец, богомольцы и богомолки, специально занимающиеся странствованием по святым местам.

Труден и долог путь странника, идущего иногда за тысячу и более вёрст поклониться святым угодникам. Железные дороги в настоящее время сократили и облегчили этот путь, но ими пользуются далеко не все: у одних не хватает средств, другие признают угодным Богу только пешее странствование.

И вот они идут – усталые, измученные; лица истощенные, обветренные, красные, с потрескавшимися губами и припекшеюся кровью; одежда порвана, рубахи донельзя грязны, через плечи перекинута сумка с хлебом и солью, кружками для воды, походными ножами, сменою белья и т. п.

Питаются они всю дорогу хлебом с солью да с водой; только изредка приходится перехватить где-нибудь «горяченького».

Страннику приходится терпеть и голод, и холод. Об этом именно и

идёт разговор в группе странников, расположившихся на отдых вечером, после жаркого дня, на берегу мелкой степной речки.

– И, батюшки мои, – говорит старушка-богомолка, – что мне только приходилось изведывать – уму непостижимо... Раз шла осенью, к домам поспешала, ан хват, зима-то ранняя, снег, мороз, метель – обе ноги отморозила, думала, что уже и владать ими не буду... Кой-как добрые люди довели... Ну, дала опять обещание Троицу-Сергия посетить. И что ж ты думаешь, – к весне ноги-то и отошли!

– Отошли? – удивляются слушатели.

– Как началось тепло, так и стали отходить, а как стаял снег, я уж и ходить стала.

– Во истину милосердие Божье! – сказал один из богомольцев и перекрестился.

Перекрестились и все остальные.

– Да, Он милосерд, – начал пожилой странник, одетый богаче всех остальных своих собеседников: всё на нём было и крепко, и ново. – Он милосерд, только мы-то забываем это... Был со мной случай, истинное чудо; по тому вот самому я теперь и хожу каждый год к угодникам. Был я больной год, и два, и больше: половиной тела не владел. И все мои дела пришли в расстройство. Сам-то я в селе лавку бакалеи держу и ссыпкой хлеба занимаюсь. Ну, как заболел, не могу ничего сам делать. А наше дело такое, что нужен везде хозяйский глаз: чуть что не доглядел, на приказчика не полагай надежды; а сынов у меня нет, все девочки. И стало моё имение истощаться. Ну, лечился, был у разных докторов – нет помощи; служил молебен – тоже никакой пользы. Хорошо. Только приходит раз ко мне странник, тоже вот богомолец: просит на странствие. Дал я ему, и вдруг мне вступило: «может, и мне сходить бы к угодникам». А какое там ходить, коли у меня левая сторона тела вся как деревянная – двинуть ногой-рукой не могу. Ну, только не успел я подумать насчёт странствия, как чувствую, что у меня мякше в больном-то боку стало. Попробовал я рукой левой двинуть: чуть-чуть, а всё-таки двигается; попробовал ногой – тоже, на полвершка передвинул. Тут уж я обрадовался: заплакал. «Обещаю, говорю, к угодникам, как только поднимусь». Сейчас послал за батюшкой: так и так, мол, вот какое дело со мной сделалось, – отслужите молебен. Отслужили. После молебна я опять обещаюсь, батюшка бла-

гословил. Дальше – больше, через месяц выздоровел: и рукой, и ногой превосходно владею Божья это рука или нет?

– Она самая!

– А дальше что! Как только встал я на ноги, сейчас котомку на плечи – и в Киев. Ну, первый день прошёл – ничего. На второй день начинаю чувствовать, будто нога что-то не слушается. На третий день к вечеру свалился: ни рука, ни нога. Свалился и лежу на хуторе; добрые люди приняли, опять в такой же болести, как и дома. Лежу день, лежу другой – всё хуже. «Что же это, думаю; знал бы, из дому бы не выходил». И возроптал я тут. Только ночью во сне вижу, подходит ко мне старец и говорит: «иди». «Как, говорю, я пойду, когда я – калека?» А он и говорит: «всё-таки иди», и скрылся. Проснулся я и думаю: «что же это такое? ведь это прямо указание, надо идти». На утро прощаюсь с хозяевами: «пойду», говорю. А они все в один голос: «куда, говорят, тебе идти»? «Как-нибудь, говорю, буду ползти». Ну и пополз, прямо так на четвереньках и пополз. Да ещё рукой-то левой хоть немного владел, а нога так просто тянулась, как будто и не моя. Полз я таким способом до полдня, а потом полегчало, стал немного владеть и ногой; на другой день ещё легче, а на третий уж совсем пошёл как следует. Сходил в Киев, и вот с тех пор пять лет ни разу не болел, и ногами владею: каждый год на богомолье хожу.

– Внял, значит, Господь!..

При этом восклицании, которым богомольцы и богомолки закончили рассказ торговца, только один странник оставался молчаливым и ни одним словом не выразил своего мнения о рассказанной истории. Странник этот резко отличался от своих товарищей как своим нищенским костюмом, так и тем, что у него не было котомки. Это был шалашниковский беглец, бежавший от «мирской» неправды, Афанасий Иваныч Лопухин.

Рассказ торговца вызвал ещё несколько рассказов о подобных же случаях. Когда все рассказы кончились и усталые богомольцы, закусивши хлеба с водой, собрались лечь спать, Афанасий Иваныч неожиданно обратился к торговцу с вопросом:

– А у кого, почтеннейший, хлеб скупаешь?

Все обратили внимание на Афанасия Иваныча, даже те, которые начали было молиться на сон грядущий, остановились и повернулись

в его сторону. Сам торговец был крайне удивлён и как-то нерешительно отвечал:

– Известно у кого... у мужиков.

– А отколь будешь сам?– продолжал спрашивать Афанасий Иванович.

– Из Казанской губернии... А ты что, земляк, что-ль?

– Что ж, у мужиков там залишек хлеба? – не обращая внимания на вопрос торговца, продолжал допытываться Афанасий Иванович.

– Какой залишек! – отвечал торговец, всё ещё не понимая, к чему ведёт свой допрос собеседник, – самим не хватает... Известно, от нужды продают.

– Так это ты нуждой-то чужой пользуешься?

– Как пользуешь? Что я их тащу к себе, что ли? Сами несут!

– Ты думал, что для тебя Бог чудо станет творить... за то, что ты своего брата-мужика грабишь!

– А ты не лайся, коли путём не знаешь! Что я один, что ли, хлеб скупаю: не я, так другой.

– Это, брат, и разбойники так говорят...

И с этими слова Афанасий Иванович отошёл от прочих богомольцев и лёг. Стали ложиться и остальные, молча и недоуменная, как отнестись к происшедшему. Только старуха несколько раз сквозь зубы проговорила: «искушение», да какой-то мужичонко в лаптишках заметил своему соседу: «а ведь ловко он его обделал... А то совсем святой!»

II.

Афанасию Ивановичу не спалось: сильно уж взволновал его рассказ торговца. «Ишь ты, – думал он, – на богомоленья каждый год ходить, виденья разные бывают, а каким делом занимается, а?! своих же грабит!». И Афанасию Ивановичу припомнились кулаки, оставленные на родине, в Шалашной. Вот Распоясов стоит в церкви: с каким усердием бьёт он земные поклоны, как старательно прикладывает ко всем иконам после службы, как часто служит молебны! А сбоку Распоясова стоит Хопер и во всё ему подражает, – тот саамы Хопер, который ещё недавно, будучи бедным мужичонком, никогда и в церковь не

заглядывал. А между тем, что стоит Распоясову или Хопру погубить человека, разорить его, довести до сумы или острога? Ровно ничего. И губят. «Притворы! – думает Афанасий Иваныч, – Бог-то у них заместо покрышки»...

И везде так. Афанасий Иваныч припоминает свой путь от Шалашной. Положительно на каждом шагу встречал он факты, доказывающие, что «Бог к людей заместо покрышки». Принимали его дорогой разно: в одних местах ему достаточно было сказать, что идёт «к угодникам», чтобы быть желанным гостем, зато в других местах на него смотрели как на попрошайку, как на человека, который только высматривает, не лежит ли где плохо. При этом его поразили два обстоятельства. Во-первых, его хорошо принимали, кормили и поили не просто как голодного человека, а именно как странника по святым местам. Всякий раз, когда ему давали кусок хлеба или пятак, то непременно добавляли: «уж ты за нас помолись». Один раз был с ним такой случай: покупал он хлеб и дал хлебной торговке гривенник; сдачи приходилось две копейки. У торговки не оказывалось двух копеек, а были всё трёхкопеечники. Долго торговка не решалась отдать лишнюю копейку, но, наконец, отдала, прибавив: «ты уж за меня поставь угодникам свечку!». Афанасий Иваныч обобщил эти случаи таким образом: «и Бога хотят подкупить!». Второе обстоятельство, поразившее Афанасия Иваныча, состояло в том, что его стали принимать тем суровее и тем с большею неприязнью стали относиться к нему, чем ближе подходил он «к угодникам». Когда он теперь упоминал о своём странничестве, ему отвечали: «мало ли вас, таких-то шарлатанов, шляется здесь». Афанасий Иваныч сперва не понимал, как это можно быть странником и шарлатаном в одно и то же время, но скоро обстоятельства разъяснили ему его недоумение.

Афанасий Иваныч ушёл на богомолье потому, что уж больно мучила его деревенская неправда. Неправда эта была и на «миру», и в семье; проявлялась она и в отношениях Распоясова и ему подобных к остальным шалашниковцам, и в отношениях заурядных шалашниковцев друг к другу. Жить окружённым со всех сторон такими явлениями неправды для Афанасия Иваныча стало невыносимым и он решил покинуть Шалашную и искать людей, которые жили бы по правде, по совести, по-божески. Желание жить по правде, мало-по-

малу, под влиянием созерцания шалашниковских неправд, сделалось до такой степени сильным, что Афанасий Иваныч решился исходить «всю землю», лишь бы найти «праведных» людей. Но где такие люди могут быть? В городе, как это знал Афанасий Иваныч по собственному опыту, приобретённому во время хождения по «мирским» делам, царит неправда ещё «похлеще» шалашниковской; в деревнях – порядки те же, что и в Шалашной.

Оставался ещё один край, край таинственный, о котором у Афанасия Иваныча сведения были крайне смутные и крайне заманчивые. Край этот был «святые места», монастыри, вообще сторона, где «лежат угодники Божии». Сведения об этом крае слагались из рассказов странников и странниц и из того, что вычитывалось в «Чети-миняех». Неудивительно, что край этот рисовался Афанасию Иванычу в самых радужных красках: там в лице почивающих угодников постоянный пример праведности; там подвижники, там постоянное служение Богу и т. д. Неудивительно, что Афанасий Иваныч двинулся за правдой именно в этот край.

Побуждаемый к странствию исканием правды, Афанасий Иваныч и в своих товарищах-странниках видел людей, ищущих правды. И действительно, первое знакомство с ними подтверждало этот взгляд. Когда он, при первой же встрече со странниками, пустился с ними в откровенность, начал изливать свою душу, рассказал о падении шалашниковского «мира», о его пьянстве и несправедливостях, о господстве неправды в жизни вообще, все высказывали полное сочувствие.

– Какая уж тут правда, когда дети на родителей пошли! – говорил один странник.

– Нынче гривенник больше правды, – подтверждал другой

Когда Афанасий Иваныч высказывал своё негодование по поводу таких печальных явлений, странники и в этом случае оказывались солидарными с ним.

– Что и говорить: хуже этого и не придумаешь...

Наконец, когда он высказывал, что правду можно только в «святых местах» найти, собеседники опять соглашались с ним.

– Там, около Бога, как же можно!

– Где ж ей, матушке, и быть!

– Зачем же мы туда и идём, как не за этим самым?

Словом, Афанасий Иванович убедился, что он попал в общество людей, подобных ему. Это его очень обрадовало, и он в первый раз почувствовал облегчение от тоски, которая тяжёлым гнётом давила его душу с тех пор, как он понял неправду шалашниковской жизни. Не долго, однако, была его радость.

Группа богомольцев, к которой пристал Афанасий Иванович, сложилась совершенно случайно. Как-то раз сошлись все на одном постоялом дворе, и так как путём взаимных расспросов узнали, что все идут в одно место, то на другой день пошли все вместе. Скоро оказалось, что вместе идти и удобнее, и выгоднее: покупая хлеб в большом количестве, они получали «уступочку»; останавливаясь вместе на одном постоялом дворе, они платили меньше обычной платы. Это обстоятельство послужило связью между странниками и обратило случайно собравшуюся толпу в некоторого рода общество. Чтобы не собирать денег каждый раз при уплате за хлеб, ночлег, переправу и т. п., тем более, что часто доля каждого выражалась в дробь, они избрали из своей среды «атамана» и вручили ему на расходы по рублю с человека. В атаманы попал бойкий и расторопный мужик, до изнеможения торговавшийся за каждую товарищескую копейку. Странники были очень довольны им и не могли нахвалиться его умением беречь «опчия» деньги. Когда собранные деньги были израсходованы, товарищи снова сложились, уже по два рубля, и деньги вручили тому же мужику. Но, проснувшись на другой день, они уже не увидели своего атамана: он бежал и унёс деньги.

Эта история сразу разрушила обаяние, которое произвели на Афанасия Ивановича странники. Он стал подозрительно относиться к ним и в каждом слове, в каждом поступке стал видеть что-нибудь скрытое. Он сделался молчаливым и не принимал участия в общих разговорах; но зато каждый благочестивый разговор, который вели странники, он заканчивал злым вопросом или угрюмым замечанием, в котором ясно давал понять, что он всё благочестие странников ставит ни в грош. Он не раз высказывался, что мужики, обзывавшие странников шарлатанами, были вполне правы. «Нагрешит, напакостит, думал он, — а потом хочет Бога подкупить: на богомолье, мол, сходил... А другой идёт для почёта: был, мол, в Киеве, или у Сергия... Эх, вы сквалыжники!»... И мало-помалу Афанасий Иванович приходил

к тому заключению, что и для странников «Бог вместо покрывки». И снова овладела им прежняя тоска.

III.

Мрачное воззрение на людей как на существа, «забывшие Бога» и упоминающие о Боге только для того, чтобы лучше «обдирать» и «тянуть жилы» из окружающих, ещё более укрепились и сделалось для Афанасия Иваныча несомненною истиною вследствие печального происшествия, случившегося незадолго перед их приходом в «святое место».

На одном из привалов к партии странников присоединились две богомолки. Одна из них, женщина лет сорока, была очень молчалива и только постоянно вздыхала. Другая, напротив, была очень разговорчива и притом знала множество разных духовных историй, легенд, рассказов и т. д. Мало-помалу она овладела вниманием всей партии, так что во время остановок слышался один её голос, повествовавший изумлённым слушателям какую-нибудь интересную историю. Интерес её историй увеличивался от того, что в них всегда речь шла о самых животрепещущих для мужика вопросах. Раз, например, один из странников упомянул о жуке, поедающем хлеб; рассказчица тотчас же вмешалась и спросила:

– А знаете, откуда взялся жук?

– Нет, – ответили все и сдвинулись к рассказчице, предчувствуя, что она собирается что-то сообщить.

Рассказчица начала. Говорила она особым тоном и особым голосом, усвоенным собственно для рассказов подобного рода.

– Было это, батюши, годиков так с пять тому назад. Вышли раз богомольцы из Киева. Шли они день, шли другой, шли и третий. Только остановились они, матушки мои, ночевать в степу. Повечеряли, помолвились и улеглись. Только не спится им, все думки про домашних: как, мол, там без нас, всё ли благополучно? Ворочались, ворочались – нет, уж верно не заснуть. И говорят друг дружке: «что ж мы будем попусту ворочаться? Лучше пойдёмте: месяц светит, дорогу видно». Пошли; идут и молитвы читают: потому артель ихняя маленькая, степь глухая

– долго ли до греха? Только вдруг померкает месяц – и темно, темно сделалось по степу. Страшно стало богомольцам: ну, вдруг, волки, а не то ещё хуже волков – злые люди? И видят они: огни замелькали. «Должно, чумаки, – думают, – пойдём к ним». Стали подходить: видят – чумаков нет, а стоит церковь с золотыми крестами и вся в огнях. Из окон церкви так свет и валит, а от золотых крестов ещё пуще. Взошли богомольцы на паперть, глядят – никого в церкви нет, а стоит только среди церкви гроб. Обуял их тут страх и ужас. Только думают: храм Божий, значит нечистого нет ничего. Перекрестились и вошли во внутрь. Перво-наперво приложились ко всем ликам, а потом ударили поклоны перед гробницей. Вдруг из гроба слышится глас: «Братия! я не мёртв, а жив, хочу поучать вас». Обомлели богомольцы, хотели бежать – ан ноги не слушаются. А из гроба поднялся монах, сел в гробу-то и говорит: «Где вы, люди Божии, были?» – «У Ионы-пророка», – отвечают они, а у самих так всё и трясётся, насилу язык поворачивается, никогда они о таких дивных делах не слыхивали. Только монах спрашивает дальше: «Что же, говорит, вам Иона-пророк говорил?» – «Мне, говорит старушка, щепочку дал». – «А мне, говорит один богомолец, писанный листочек: поучение святых». – «А мне – отслужить двенадцать молебен». – «А мне – семь лет на богомоление ходить»... Ну, рассказывали все, что кому было. Тогда монах и спрашивает: «а про последнее время говорил Иона-пророк?» – «Нет, не говорил». – «Ну, так слушайте, что я вам скажу: скоро, скоро конец миру! Ибо, говорит, нечестия ваши преодвтели и нечистая вопиют. Долготерпелив и милостив Господь, но и наказует. И сказано в писании: будут пред концом мира огненные колесницы, поднимется брат на брата, родится антихрист, настанет мор, глад и войны. И всё есть: антихрист родился – папа римский, колесница – железная дорога... И напущу, глаголет Саваоф, на ваши поля песьих мух, и будут они хлеб ваш поедать... Идите, говорит, и глаголите всем: да слышит имеющий уши!» Сказал это он – и вдруг всё исчезло: и монах, и гроб, и церковь. Стоят богомольцы в голом степу и дивуются, что это было... Вот с этого года и пошёл жук».

Странники слушали рассказ с величайшим вниманием: у некоторых даже мурашки полезли по спине. По окончании рассказа все сидят, потупившись и о чем-то размышляя. Наконец, раздаётся какое-нибудь восклицание в таком роде:

– Премудрость.

Словом, благодаря своим рассказам, странница приобрела в глазах своих случайных товарищей громадный авторитет. И потому, когда вдруг рассказчица и её товарка внезапно скрылись, все искренно сожалели об этом. Каково же было общее удивление и негодование, когда на следующем привале у многих странников оказались исчезнувшими разные вещи, хранившиеся в котомках! Оказалось, что в то время, когда рассказчица занимала публику своими историями, её товарка обирала котомки. Больше всех негодовал Афанасий Иваныч, хотя у него не могло пропасть ничего, так как ничего и не было.

Этот случай так подействовал на Афанасия Ивановича, что на минуту у него явилась мысль: «и в святом месте тоже, пожалуй, этикие штуки...». Но ему тотчас же стало стыдно, и он начал молиться об «избавлении от искушения». Молитва помогла ему, и он вступил в «святое место» с твёрдой верой, что в то время, как во всём мире царит неправда, в «святом месте» полное царство правды. Потому: «ужели ж и около угодников так можно?»

VI.

Со страхом и благоговением вступил Афанасий Иваныч в «святой град». Но – увы! – если ещё по дороге вера его колебалась неблагоприятными фактами, то здесь этих фактов было ещё больше. «Святой град» давно сделался коммерческим городом, а его знаменитый монастырь очень походил на торжище. Всюду кружки, тарелки для сбора, всюду слышится звук монеты. У самых ворот монастыря идёт бойкая торговля образами, крестиками и пр. Всюду рядом со святыми словами – «молебен», «акафист», «сорокоуст» – слышатся и грешные – «полтинник», «десять рублей», «не дорого» и т. п.

Эта коммерческая сторона «святого места» страшно поразила Афанасия Ивановича: *этого* он уж ни в каком случае не ожидал. Он шёл сюда с больною душою, с громадным запасом оскорблённого чувства правды, с целым рядом мучительных вопросов, возбуждённых созерцанием господства неправды, насилия, обмана, прижимки; он шёл сюда в надежде найти здесь правду, праведных людей и раскрыть

перед ними всю свою душу, высказать все свои сомнения и вопросы; он ожидал найти здесь успокоение, разрешение наболевших вопросов, указание пути среди явлений неправды – и вместо того нашёл то же, что измучило его в Шалашной, дома, что заставило его бежать с родины!

С растерзанным сердцем уныло бродил он по монастырю, уныло и как-то бессознательно прикладывался к святыням, отстаивал обедни, сидел в трапезной, одиноко толкался среди групп странников. И всюду, и везде он подмечал копеечные интересы, всюду слышал разговоры о деньгах, всюду видел проявления жадности. Нельзя сказать, чтобы здесь не было явлений, которые показывали бы, что здесь есть люди, заботящиеся и о «душе», люди, для которых «душа» была важнее копейки. Но эти явления как-то робко жались по уголкам, словно конфузясь выйти на вольный свет, словно робея перед явлениями другого рода. А явления другого рода лезли напролом, бросались как будто нарочно прямо в глаза. Вот какой-то монах громогласно выразился: «ну, народ! целуют (угодников) много, а кладут мало!». Вот за «даровым» обедом богомольцев более десяти раз обходят с тарелками для сбора пожертвований, да, кроме того, около каждой чашки с кушаньем стоит кружка с надписями. Вот, наконец, случай кражи...

Особенно поразил Афанасия Иваныча последний случай. Дело было так. Будучи в пещерах, он с удивлением увидел монахов, стоявших неподвижно по углам, невдалеке от тарелок, на которые благочестивые богомольцы клали деньги. Выходя из пещеры, он с не меньшим удивлением заметил двух монахов, стоявших у выхода из пещер и внимательно осматривавших спины выходивших богомольцев. Афанасий Иваныч остановился и думал: что это значит? Вдруг выходящая из пещер толпа заволновалась, зашумела. Стоявшие у выхода монахи тащили какую-то бабу; толпа бросилась за ними. Все спрашивали друг у друга: «что такое?»

– Везде брала? – спрашивали бабу монахи.

– Везде, родимые, – покорно отвечала баба, – грех попутал.

Оказалось, что монахи, стоявшие по углам пещер, наблюдали за тарелками и когда замечали, что кто-нибудь из богомольцев, вместо того, чтобы положить, тянул деньги с тарелки, незаметно делали мелом знак на спине вора. По этому знаку монахи, стоявшие у входа, и узнали воровку.

Пойманная в воровстве баба в наказание была на целый день приязана к ограде на виду и в поучение прочим богомольцам.

Афанасия Иваныча эта история кольнула в самое сердце. «Хороша воровка, – думал он, – да и монахи тоже тёплые ребята! Бог-то Бог, а мамон своим чередом!..»

Понятно, что такое мрачное настроение души должно было рано или поздно кончиться кризисом, рано или поздно должен был произойти перелом, разрыв с прежними верованиями. И кризис наступил.

В монастыре богомольцам даются даровые обеды. Даровыми они, впрочем, названы просто по недоразумению, так как в течение обеда с богомольцев собирается больше, нежели стоит самый обед. Обед и количественно, и качественно, был таков что богомольцы вставляли после него с лёгкими желудками, и таким образом плоть не мешала духу предаваться парениям. Что именно эту последнюю цель преследовали монастырские обеды, нельзя было сомневаться при взгляде на микроскопические кусочки хлеба, лежавшие по одному перед обедающими.

Афанасий Иваныч был в монастырской трапезе всего один раз, да и тот кончился для него несчастно. Усевшись за стол, он счёл нужным прислушаться к тому, что читал на одном конце комнаты седой монах. Удовлетворивши в этом отношении своей любознательности, он приступил к еде; но тут он заметил, что лежащий перед ним кусочек хлеба неизвестно куда исчез. Рассудив, что без хлеба поданная на столе мутная вода едва ли окажется особенно вкусною, он обратился к проходившему мимо него монаху с просьбою насчёт «кусочка хлеба». Монах разразился целою речью против чревоугодия, поклонения мамоне и т.д. Афанасий Иваныч снова повторил свою просьбу. Монах опять своё. Афанасий Иваныч не выдержал:

– Да есть я хочу! – закричал он.

Это было, по понятиям монаха, из рук вон. И тотчас же могучие руки подхватили Афанасия Иваныча и выбросили его из трапезной. Толчок был так силен, что Афанасий Иваныч пришёл в себя не прежде, как выбежал из монастыря и добежал до реки.

Здесь, сидя на обрыве, он начал размышлять о том, что такое с ним случилось! Боль личной обиды совершенно ступшевывалась перед жгучею болью, происходившею от сознания, что «и здесь нет правды».

«Так вот они каковы! – думал он. – Где ж правда? Где праведные люди?» И он в ужасе останавливался перед окончательным выводом; сделать этот значило уничтожить в жизни всё, для чего стоило бы жить. Сказать, что правды нет нигде, – значило сказать: топись, брат, благо река под рукой. И он всячески старался уклониться от окончательного вывода, утешал себя разными соображениями, вроде того, что «должно, это только тут так; а в других местах, должно, благодать». Но он сам уже чувствовал всю шаткость своих соображений.

В это самое время мимо Афанасия Иваныча прошли два арестанта, сопровождаемые конвоем солдат. Один из арестантов был старик, с широкой седой бородой; другой – ещё совсем молодой мужик. Оба были необыкновенно бледны и серьёзны. Афанасий Иваныч со вниманием смотрел на них до тех пор, пока они не скрылись, завернув за угол одного из приречных домов, и затем обратился к молодому парню, по костюму мастеровому, сидевшему тоже на обрыве и бросающему в реку от скуки камешки.

– Паря! энто кого повели? – спросил Афанасий Иваныч.

– Штунда! – отвечал тот и как-то особенно взмахнул головой.

– То-ись, как это? – переспросил Афанасий Иваныч, не слыхавший никогда такого мудрёного слова.

– Штундовые... вера такая, значит, религия, – пояснил мастеровой.

– Нехристи?

– Хрестьяне... как следует... У них, братец ты мой, – говорил мастеровой, пересаживаясь поближе к Афанасию Иванычу, – евангелие, значит, например, у каждого завсегда с собой... Народ ничего, хороший... Только, значит, попов наших не признают... А то народ хоть куда: водки, к примеру, ни-ни!...

– За что ж их так-то... с солдатами?

– А это, видишь ли, какое дело? Обращают их в нашу веру, понимаешь?... Сперва-наперво в монастырь под начал.. ну, и наставление там. А когда не подействует, тогда в острог...

– Отчего ж не действует... в монастыре-то?

– А оттого, что там, в монастыре-то, хуже! Это, братан, я уже доподлинно знаю, потому сам там жил послушником, хотел тоже в монахи, только убежал... Человек я весёлый, разгульный, а и мне жутко стало... Да вот тебе: жили у нас три месяца богомолки. Ну, скажи, как

это в мужском монастыре женские персоны так долго пребывают? Фальшь, аль нет?... А на поверку выходит: богомолки полы моют. И моют они, братец мой, что-то слишком часто.... А то, замечаю, богомолки вишни рвут, а сад на запоре. А топом дело пошло в явь: вино, например, песни... Ну, я глядел-глядел и сбежал...

– Да ты не врешь?

– А врать-то мне какой барышь? Я вот тебя видел, а потом и нету; сидел с тобой, а потом поднялся (мастеровой, действительно, поднялся) и ушёл! Чего ж мне врать! Чудак!

Афанасий Иваныч остался один. «Стало быть, всюду то же, а то ещё хуже», – думал он. Ему пришла в голову мысль броситься в реку, но он тотчас же поднялся и поспешил уйти на постоялый двор, где он остановился. На постоялом он тотчас же лёг спать. Ему нездоровилось.

На утро оказалось, что он в сильнейшей горячке. Целый ряд душевных волнений, непривычная умственная работа, почти полное воздержание от пищи, о которой он забыл за своими думами, – всё это сломило его сильный организм, и в больнице, куда его доставил дворник, его причислили к безнадежным.

V.

Однако доктора ошиблись: мужицкая натура победила болезнь, и Афанасий Иваныч после долгих страданий стал поправляться. Удивленные мужицкой живучестью, доктора перевели его в палату выздоравливающих. Выздоровливание тянулось долго; расслабленный организм требовал продолжительного ухода.

Соседом Афанасия Иваныча по больничной палате был какой-то странный старик. Лицо его было без усов и бороды, хотя в то же время на нем не было заметно следов бритвы. Щеки были жирны до отвислости: подбородок двойной. Вообще лицо походило более на женское, чем на мужское. Голос был мягкий и тонкий, как у детей. Старик большую часть дня проводил за чтением какой-то маленькой книги. С товарищами по палате он не входил ни в какие сношения и держался от всех в стороне. Иногда к нему приходили посетители, молодые и старые, но все без растительности на лице, все с двойными подбород-

ками и с мягкими голосами. Старик усаживал посетителей на своей койке, и они медленно вели долгие беседы, причем в речах их то и дело слышались слова: «братец», «мил дружок» и т.п. При появлении и при уходе посетителей старик обменивался с ними низкими поклонами и лобызаниями.

Станный старик обратил на себя внимание Афанасия Иваныча. По целым часам лежал он неподвижно, обратившись в сторону старика и наблюдая за тем, как старик медленно водил глазами по книге и беззвучно шевелил губами. В свою очередь, старик скоро заметил этот взгляд, постоянно устремленный на него, и стал присматриваться к Афанасию Иванычу. Скоро между ними, как-то само-собою, завязались сношения, и через несколько дней старик уже расспрашивал Афанасия Иваныча о семье, о его житье-бытье и т.п. Ласковый тон, предупредительность, участие к положению Афанасия Иваныча, интерес, обнаруженный стариком по отношению к его вопросам и сомнениям, – все это вызвало живейшую симпатию к старику и заставило раскрыть перед новым знакомцем всю свою душу. Старик внимательно выслушал рассказ Афанасия Иваныча и о безурядице, разбое и «денном» грабеже, которые царят в Шалашной, и о тех надеждах, которые он возлагал на «святое место», и о разочарованиях, которые испытал он, убедившись, что для людей Бог «заместо покрывки», и о многом другом. Когда Афанасий Иваныч излил всю накопившуюся в его душе скорбь, когда он выразил свое отчаяние по поводу того, что теперь ему «не во что верить», когда он высказал свои недоумения насчет того, «как ему теперь жить», старик заговорил в свою очередь. Он заговорил грозным, пророческим тоном, который страшно поразил Афанасия Иваныча. В голосе старика уже не слышалось прежней мягкости и певучести; напротив, он был резок и груб. Глаза его горели; выражение лица изменилось.

– Да, друг, говорил старик, – всё нынче дурно. Всюду ложь и обман, всюду неправда. Нет ни правды, ни дружбы, ни любви в мире. В суде богатый всегда возьмет верх над бедным. Архиереи ездят на колясках. Чиновные заправляют без стыда и совести. В семье всему делу голова – деньги. Люди друг к дружке идут, друг с дружкой дела делают не по вере, а по бумажным скрепам. Всё испортилось, все развратились. Деньги – всё. За деньги ты купишь и тело, и душу. О деньгах нынче

самый маленький мальчик говорит. Из-за денег все бьются. Из-за них и вражда, и война, и погибель... Но Бог не хочет, чтобы грех поборол благочестие. Благодать еще не перевелась на земле. Есть люди, которым хочется жить в любви, в дружбе и согласии. Они отрешились от мира и живут «кораблями». Там мир и любовь, вера и правда. Люди эти *избранники Божьи, Христовы люди, белые голуби*... Если у тебя болит душа, иди к ним: вера возвратится к тебе, и там найдешь правду и праведников.

С затаенным дыханием слушал Афанасий Иваныч старика. Что-то сладостное испытывал он, словно целебный бальзам проливался на его душевные раны. Ему страстно, до боли захотелось попасть в эти «корабли» «белых голубей», пожить этой жизнью без вражды, без ссор, без грызни. Его исстрадавшаяся душа жаждала, требовала этой жизни по дружбе, по любви. И он выразил старику свое искреннее желание присоединиться к обществу «людей Божьих».

Старик советовал не торопиться.

– Ты сперва обдумай хорошенько, чтоб уж после не каяться... Не хорошо будет, как после откажешься от «Божьих людей». Испытай себя, готов ли? А теперь познакомься со словом Божиим, что там сказано: будешь знать, как надо жить с «Божьими людьми»...

С этого дня старик каждый день читал Евангелие, причем комментировал каждый стих. Афанасий Иваныч, слышавший прежде Евангелие только в церкви, где он ровно ничего не понимал, был страшно поражен и удивлен, вслушиваясь в евангельскую проповедь. Боже мой! да ведь это именно то, что он чувствовал, но чего не мог выразить словами! ведь это именно то, чего недостает теперь людям, чего недостает в жизни. Простые, безыскусственные слова Евангелия, в которых выражались великие мировые истины, имели для Афанасия Иваныча громадное обаяние, производили необыкновенно сильное впечатление. И с какой радостью он слушал эти святые слова, с каким нетерпением ожидал всякий раз, когда начнет старик чтение!

Но вот вопрос: Христос проповедовал давно – отчего же люди до сих пор не вслушались в слова его проповеди? Отчего они до сих пор не применяют к жизни его законов, до сих пор живут во взаимной вражде? В ответ на это старик развил перед Афанасием Иванычем идею скорого суда Христова над миром.

– Люди презрели слова евангелия, говорил он, – мало того, они стали извращать смысл евангельских изречений, чтоб оправдать свое мерзкое житье; они так дурны, так греховны, так порабощены дьяволом, что дерзают взваливать на Бога свои богомерзкие поступки! И за все это они погибнут, как имевшие уши и не хотевшие слышать, имевшие зрение и не хотевшие видеть. Скоро настанет день суда и каждому будет воздано по делам его. Страшная казнь ждет нечестивцев за то, что они отринули Христа. Но хорошо будет тем, кто живет по евангелию, по правде, в мире и любви. Великая их ждет награда!..

Слова старика не давали ответа на вопрос Афанасия Иваныча; напротив, они отвлекали его внимание от этого вопроса, так как идея о близком наказании живущих не по правде пришлась ему очень по сердцу и стала любимым предметом его размышлений. Да, думал он, кто издевается над добрыми людьми, кто отнимает у своего ближнего кусок хлеба, кто обращает «святое место» в торжище, – все эти люди должны погибнуть, все они заслужили гибель. Они попрали правду – и за это будут наказаны.

Но он-то сам что заслужил? Положим, что он не грабил, не издевался над правдой, не торговал благодатью. Но зато и хорошего он не Бог знает сколько сделал. Правда, он стоя за свой деревенский «мир» и много потерпел за него. Но это ему казалось такой естественной вещью, что он даже не подумал поставить себе это в заслугу. А что хорошего сделал он, помимо этого? – Ничего. Он только молчал и терпел: молчал и тогда, когда у его соседа продавали волов за долги Распясову, и тогда, когда при нем старались подкупить Бога. Где же его заслуги? Нет, он должен сделать что-нибудь такое, что выделило бы его из массы неправедников и дало бы ему право на спасение, право избегнуть всеобщей гибели. Но что же именно должен он сделать, что?

И вот однажды он услышал ответ на свой вопрос. Старик, читая евангелие упомянул о «положении души за други своя». Эти слова глубоко запали в душу Афанасия Иваныча. Да, именно положить свою душу за других – это такой подвиг, который даст ему право на спасение при всеобщей гибели. Но как пожертвовать собой? как устроить это самопожертвование так, чтобы от него действительно была польза другим? Старик, которому Афанасий Иваныч передавал все свои мысли, обещал указать ему то дело, ради которого он дол-

жен принести себя в жертву. Авторитет старика был настолько велик в глазах Афанасия Иваныча, что он вполне был уверен, что старик действительно укажет дело, совершая которое он ради счастья других пожертвует собой. К делу этому Афанасий Иваныч, по словам старика, может приступить тотчас же по выходе из больницы.

С нетерпением ожидал он времени, когда его силы настолько оправятся, что он будет в состоянии оставить больницу. Ему страстно хотелось, чтобы это время наступило скорее: там, за стенами больницы, он ожидал найти нечто такое, чего еще не видал и не испытал, — там он найдет общество праведников и сделается достойным этого общества, принеся себя в жертву за других.

Мысль о самопожертвовании особенно занимала его больной ум. В чем должно было состоять это самопожертвование, он ясно не представлял и довольствовался в этом отношении различными фантастическими картинками, материал для которых он брал из рассказов старика о жизни и страданиях разных мучеников и подвижников. То он видел себя стоящим в пламени на костре; то воображал себя привязанным к какому-то колесу, которое, вращаясь, ломало ему кости и отрывало куски мяса; то ему представлялось, что у него содрана со всего тела кожа. Большое воображение рисовало все эти картины до такой степени живо, что он действительно видел их, действительно чувствовал мучительные страдания и боль. Словом, с ним начались галлюцинации. Здоровье его не только перестало поправляться, но начало заметно ухудшаться.

Старик понял, в каком состоянии находился Афанасий Иваныч, и предложил ему выйти вместе с ним из больницы. Афанасий Иваныч согласился с радостью, и они в тот же день отправились вглубь Малорусских степей, где, по словам старика, жили «Христовы люди». И вот во время этой дороги старик открыл Афанасию Иванычу, как он может спастись, пожертвовать собой за других.

На постоянных дворах, где они останавливались, старик продолжал читать евангелие и беседовать по поводу прочитанного. Однажды старик остановил внимание Афанасия Иваныча на следующем месте евангелия: «Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть *скопцы, которые сами себя сделали скопцами*».

– Понимаешь ли, что это значит? – спросил старик.

Афанасий Иваныч отозвался непониманием.

– А это насчет браку... то есть, чтобы не касаться жены, чистоту соблюдать. Потому – грех от жен большой...

– Как же так? – удивился Афанасий Иваныч, – ведь этак и люди переведутся...

– А тут что сказано? «кто может вместить, да вместит». А разве все могут вместить? Небось, люди будут... Да и Бог всемогущ; захочет – и люди будут размножаться без греха... Ну, а как ты думаешь, что это значит – «скопец»?

– Известно – скопить... оскопленный...

– Значит: нужно скопить себя?

Афанасий Иваныч молчал и с недоумением смотрел на евангелие: как это так? думал он.

– Нет, дружок мой, – продолжал старик, – это не значит, что нужно оскопить себя; это нужно понимать духовно: значит нужно воздерживаться... Ну, а вот есть люди, которые по простоте своей так и поняли, что нужно оскопить себя, и оскопились... Теперь-то уж жалеют, да ничего не поделаешь... Хорошие они люди: не побоялись, коли думали, что делают хорошо... А их преследуют; гонят и власти и простые люди. Они всем противны, все ими гнушаются, все их ненавидят... А чем они, сиротушки, виноваты? Они и так несчастны, а их гонят. Нужно им дать покой... вот за них-то, гонимых, презираемых, принести себя в жертву – вот это будет заслуга перед Богом!..

И старик вопросительно посмотрел на Афанасия Иваныча.

В какой экзальтации ни был Афанасий Иваныч, но он очень смутился, услышав предложение старика. Скопцы вообще не пользуются расположением простого народа; отвратительная операция, губящая скопцов физически и нравственно, невольно заставляет относиться к ним с омерзением. И вот за этих-то уродов-скопцов ему предлагают пожертвовать собой. Он не знает еще, в чем будет состоять его самопожертвование, но, во всяком случае, он мечтал не об этом. Как-то жутко, неприятно чувствовалось ему. В душе шевельнулось отвращение, чувство брезгливости...

Старик заметил, какое впечатление произвели его слова. «Ох, берегись, дружок, бес тебя смущает!» – сказал он и вышел из комнаты.

Крайнее мистическое настроение, в котором находился последнее время Афанасий Иваныч, взяло верх над проблемском здоровом чувстве, и невольное отвращение к скопчеству исчезло. «И впрямь, – подумал он, – бес путает... Он, он окаянный!.. Разве они не люди? да еще *несчастненькие!* Вот за них-то и постоять, за них-то и сложить головушку...

И он выразил старику свое полное согласие...

VI.

Прокурор N – ской судебной палаты, окончив свои занятия, выходит из здания палаты, беззаботно посвистывая и размышляя о предстоящем обеде; как вдруг у подъезда палаты его окружила толпа крестьян и, подавая ему какую-то бумагу, заговорила: «вступишь, батюшка! защити нас, горемычных!». Прокурор взял бумагу и спросил:

– Что вам нужно?

– Там, батюшка, всё прописано: почитай... Дело-то спешное...

Как ни спешил прокурор обедать, но счёл своею обязанностью прочитать тотчас же поданную ему бумагу. Пробежав несколько строк, он как будто забыл об обеде и повернул назад, в здание палаты.

Дело оказалось важным. Из прошения и показаний крестьян выяснилось следующее. Просители – по профессии чумаки. Однажды, когда они ночевали «в степу», мирно расположившись вокруг артельного котелка с кашей, к ним подошёл какой-то прохожий и попросился переночевать вместе. Чумаки пригласили прохожего подсесть с ним и принять участие в ужине. Благодарный странник в свою очередь угостил чумаков «пирожками», поев которые они заснули непробудным сном. Когда они проснулись на другой день, то с ужасом заметили, что оскоплены, а странника и след простыл.

Пострадавшие от этого зверского преступления чумаки умоляли прокурора вступить за них и по закону наказать оскопителя. Они подробно описали приметы странника и, со своей стороны, обещали употребить все усилия для отыскания преступника. Прокурор обнадёжил потерпевших, что будут приняты надлежащие меры для обнаружения злодея, и не прежде отправился обедать, как сделал целый ряд распоряжений.

Не успел прокурор пообедать, как к нему явился полицеймейстер N – ска. Оказалось, что к нему также явилась группа крестьян с заявлением о насильственном оскотлении. Обстоятельства дела были совершенно тождественны с теми, при которых совершилось оскотление жаловавшихся прокурору. Разница состояла только в том, что местом действия был постоянный двор, а роль «пирожков» сыграл чай. Дело становилось «особенно важным».

На другой день, едва прокурор вышел из своей квартиры, как его снова окружила толпа крестьян с тем же заявлением о насильственном оскотлении. На этот раз дело происходило на мельнице, а одуряющее вещество было дано в «горилке».

В следующие дни было получено ещё несколько аналогичных заявлений. Общее число пострадавших простиралось до 80. показания всех оскотлённых относительно примет преступника были совершенно тождественны. Прокуратура поняла, что она имеет дело с мрачным фанатиком скопчества. Следствие было проведено энергично. Всюду были разосланы описания примет фанатика, поднята на ноги вся полиция N – ской губернии и соседних с нею; обещаны награды всем, кто поспособствует поимке преступника. Наконец, усилия властей увенчались успехом, и преступник, благодаря помощи пострадавших, был разыскан.

Когда преступник был привезён в N – ск, все с удивлением увидели, вместо страшной зверообразной фигуры, добродушного русского мужичка, с кротким выражением лица и печатью глубокой думы. Казалось просто невероятным, чтобы такой кроткий и тихий человек мог быть таким ужасным злодеем. Но показания всех потерпевших, узнавших в нём своего оскотителя, не оставляли никакого места сомнению. Сам преступник долго запырлялся, но, наконец, уличённый на очных ставках многочисленными свидетелями, сознался во всём.

Его судили. Дело оказалось вполне ясным, и уголовная палата приговорила фанатика к ссылке на каторгу. Относительно оскотлённых палата постановила освободить их от всякого преследования как подвергшихся возмутительной операции против воли.

Последнего невольным оскотителям только и было нужно: с копией приговора уголовной палаты возвратились они в места своего жительства, навсегда избавленные от возможности подвергнуться

наказанию за изуродование себя. А мрачный фанатик, который был не кто иной, как Афанасий Иваныч, был отправлен с кандалами на ногах в Сибирь.

Скопцы, однако, не оставили его: на прощанье они ссудили его деньгами и одеждою, на них единоверцы Пермской губернии помогли ему бежать из одной из пересыльных тюрем.



Иван босый

I.

До того времени, когда с Иваном случилась «притча», он ничем не выделялся из ряда самых заурядных мужиков. Об этом периоде жизни Ивана приходится сказать очень немногое. Он был женат и имел одного сына, парня на возраст; больше детей не было. Работал Иван много, и даже очень много, совершенно так же, как и все его соседи. Особенной склонности к трезвости в нём не замечалось, но и пьян он бывал не более одного раза в неделю, и в этом отношении он ничем не отличался от большинства своих односельчан. Жил он ни бедно, ни богато, а так, что называется, перебивался с хлеба на квас. Распоясову он, подобно своим соседям и друзьям, был должен, и притом много должен, и в уплату долга поставлял оброк всякими продуктами своего труда: и зерном всякого рода, и овцами, и шерстью овечьёю, и щетиной, и салом свиным, и, наконец, самим трудом. Особенно больших недоимок Иван за собою не накапливал, так же как не накапливали и другие александровцы: село Александровское сравнительно зажиточно и в каждом дворе всегда находится что-нибудь такое, что волостной старшина может продать для пополнения недоимок. К храму Божьему Иван относился с должным уважением и пастыря чтил. Одним словом, Иван был вполне образцовым мужиком, и все те лица, на обязанности которых лежало блюсти за спокойствием села Алек-

сандровского, были вполне довольны им. Если бы в это время кто-нибудь вздумал поинтересоваться Иваном и обратился с расспросами о нём к александровским властям, – духовным, светским и экономическим, – то все эти власти аттестовали бы Ивана как человека вполне благонадёжного. А именно духовная власть заявила бы следующее:

– Что ж, Иван – вполне христианин: своему духовному отцу ни в чём не отказывает.

А Распоясов как представитель экономической власти определил бы Ивана, с своей точки зрения, так:

– В долги-то он залез дюже, – ну только и овцу «приставляет» в полном комплекте...

Наконец, светская власть (волостной старшина) отрекомендовала бы Ивана как кроткого плательщика:

– Мужик без нахрапу: к нему без кола можно идти «грабить» корову...

И вдруг с этим, благонадёжным во всех отношениях, человеком случилась «притча».

История этого превращения «мирного селянина» в столь неприятного для общественного спокойствия человека довольно темна и, вероятно, будет вполне разъяснена ещё очень нескоро. Известен, однако, случай, послуживший началом происшедшей с Иваном «притчи». Случай этот состоял в кровавой расправе александровцев с одним шалапутом.

Шалапуты явились в Александровском лет десять тому назад. Сначала, когда их было всего несколько человек, местное население относилось к ним равнодушно и отчасти даже презрительно. Там, где жизнь ставила на первый план физическую силу, должны были казаться странными люди, неумеренно предававшиеся посту и воздержанию; среди здоровых, краснощёких лиц бледные и худые физиономии шалапутов казались очень смешными. Но мало-помалу такое презрительное отношение православных к шалапутам исчезло: с одной стороны, увлечение шалапутов аскетической стороною своего учения ослабело, а с другой – успех проповеди первых последователей шалапутства чрезвычайно усилился: членами шалапутской общины сделались несколько десятков семей, и они стали составлять видную силу в селе. Мало-помалу отношения между православными и ша-

лапутами сделались очень натянутыми. Такая натянутость обуславливалась очень многими причинами. Прежде всего шалапуты были новаторами, и притом новаторами радикальными. Они ломали весь строй деревенской жизни, не оставляли камня не камне. Правда, если покопаться хорошенько в «народной душе», то в глубине её можно найти те самые начала, на которых основывалась и строилась система шалапутского учения: шалапуты только сбрасывали мусор, который от времени накопился на этих основных началах, и придавали им дальнейшее развитие. Но александровцам копать в «народной душе» не было ни времени, ни охоты, и они не видели никакого родства между началами «народной души» и учением шалапутов. Напротив, оно казалось александровцам чем-то небывалым, диким, странным. Многим это учение было невыгодно непосредственно, оно затрагивало их непосредственные интересы. Это были, во-первых, люди, которые так или иначе жили эксплуатацией ближний и которых шалапутское движение грозило лишить возможности эксплуатировать кого бы то ни было; и, во-вторых, те, у которых, благодаря уходу в шалапутство одного члена семьи, последняя разрушалась. Другие относились враждебно к прозелитам нового учения просто из боязни, которую питают слабые умы вообще ко всему новому, непривычному для них. Третьи ненавидели сектантов, принимая на веру те обвинения в безнравственности, которые сознательно и бессознательно взводили на шалапутов первые две категории их врагов и александровское духовенство. К концу концов вышло так, что пять лет тому назад всё Александровское разделилось на две неравные, крайне враждебно настроенные друг к другу части: меньшую составляли шалапуты, а большую – православные. Только несколько человек, оставаясь православными, не чувствовали никакой вражды к шалапутам и со многими из них были даже в приятельских отношениях. Усилиями этих немногих вражда между шалапутами и православными долго сдерживалась, но, наконец, прорвалась и проявилась в целом ряде столкновений.

Дело началось с пьяных. Несколько «православных мужичков», раздавивши приличное число косушек в кабаке, вышли за село, на выгон, и расположились около «ветряка». Как на грех, в это самое время мимо весёлой компании проходил молодой парень шалапут.

– Эй, ты, кадушечник! – крикнули мужики, – иди-ка сюда!

Ничего не подозревая, шалапут подошёл к звавшим. Один из компании поднялся и ударил шалапуту по лицу.

– За что ж ты дерёшься? – успел только выговорить шалапут, как на него набросились остальные члены компании, сбили с ног и начали быть по чём попало, приговаривая:

– За что бьёшься? А за то, что к вам чёрт из кадушки лазит...

– А вы чего хордыбачетесь? Что вам чёрт деньги даёт, так вы и рады...

– А, так вы наших баб портить!..

– Бей его, ребята! Он святой, а нас чертями называет!..

Судя по ожесточению нападавших, битьё шалапуту продолжалось бы довольно долго, если бы одному из бивших не пришла в голову такого рода мысль:

– Давай, ребята, заставим его креститься!

– Идёт! повернём его в нашу веру, – подхватили остальные.

Битьё прекратилось. Избитого подняли и посадили, держа его за ноги и за плечи, чтобы не убежал. Затем началось «поворачивание в нашу веру».

– Крестись, собачий сын, а то тут тебе и смерть! – кричал один из этих оригинальных миссионеров.

– Сложи ему, ребята, крест да и стукни в лоб-то, – предлагал другой.

Шалапуту насильно сложили пальцы правой руки так, как они складываются для крестного знамения, и затем стали тыкать этим «крестом» в лоб, в плечи и живот. При этом все хохотали.

– Ишь как ему не хочется в нашей вере быть!

– Ничего, помаленьку «оборкатся»⁶!

Шалапуту толкали, щипали, дёргали за уши, за виски – он всё терпел молча, ни одним звуком не выдавая своих страданий. Его бледная фигура с крепко стиснутыми зубами и горящим взглядом резко выделялась из среды его пьяных преследователей с раскрасневшимися, обрюзглыми лицами. Избитый, окровавленный, в изорванной одежде, он тем не менее имел вид величия и, неверное, произвёл бы сильное впечатление на своих мучителей, если бы они не были так пьяны.

После многих издевательств одному из мужиков пришла в голову новая мысль.

– Поташим его к батюшке: пусть он ему наставление сделает.

⁶ Привыкнет

И несчастного поволокли в село.

Шествие это имело необычайный для села Александровского вид. Впереди шли два мужика и тащили за уши шалапуты; оба они плохо стояли на ногах, шатались и при этом тянули за уши несчастного в разные стороны. За ними шли все остальные и время от времени пинками подгоняли пленника.

Все александровцы, бывшие в это время на улице, подходили к этой странной процессии и, узнав, что она направляется к батюшке, присоединялись к ней.

Впечатление, производимое этой сценой на присутствующих, было довольно разнообразно. Одни сочувствовали компании, мучившей шалапуты, и всячески издевались над последним. Другим, напротив, вся эта история очень не понравилась, и они уговаривали пьяную компанию отпустить избитого.

В числе последних был и Иван. Он был в числе немногих, которые не чувствовали никакой вражды к шалапутам, но и нисколько не интересовались вопросом о том, правильно или неправильно поступают враждующие против сектантов. До того момента, когда он увидел упомянутую процессию, для него было совершенно безразлично, существуют ли шалапуты или нет. Но зато теперь тем более сильное впечатление произвёл на него вид окровавленного парня, которого к тому же тащили за уши.

По природе своей Иван был довольно мягкий человек. В драках он никогда не участвовал; жену и сына был всего раза по два в год, и то слегка. Даже животных – лошадей и быков – он бил очень редко, в минуты сильного гнева, припадки которого с ним случались редко. В теории, однако, он допускал побои, но требовал, чтобы они наносились только тогда, когда для этого есть серьёзные основания. Вообще воззрения его по этому вопросу формулировались в словах: «учить палкой можно».

И вдруг перед его глазами разыгрывалась самая возмутительная расправа, не вызванная притом решительно ничем. Разбитых морд и проломанных голов он насмотрелся вволю, и одною окровавленною мордою больше – для него не могло казаться особенно важным делом. Но все прежние случаи для него были понятны и объяснимы: дело происходило обыкновенно в драке, и разбитые морды оказывались у

обеих сторон. Но здесь имела место не драка, а какое-то разбойничье нападение целой шайки на одного, нападение, к тому же произведённое без всяких поводов и оснований.

В те две-три минуты, в течение которых Иван оставался пассивным зрителем происходившей перед ним сцены, он никак не мог сообразить, за что собственно молодой шалапут подвергается таким издевательствам. Догматических тонкостей, разделявших шалапутов и православных, он не понимал, а в житейско-нравственном отношении он отдавал все преимущества шалапутам пред православными: шалапуты все были трезвы, а Иван высоко ставил это качество в человеке; все они были очень трудолюбивы, – Ивану, как человеку тоже очень трудолюбивому, было приятно чувствовать себя солидарным с ними в этом отношении; наконец, шалапуты были очень дружны между собою, помогали друг другу и, главное, не кулачили, хотя имели полную к тому возможность. Ивану, в виде контраста, вспомнились Распоясов и компания.

Все эти соображения промелькнули в голове Ивана в течение нескольких минут. Ещё минута – и он был уже около молодого шалапуты, отпихивал от него мужиков и кричал на них:

– Что вы, ошалели, что ли? За что вы мучите человека?

Мужики сначала растерялись от неожиданного нападения.

– Да ты что, ихний, что ли? – только и нашлись они сказать.

– Не ихний я, сами знаете; а только грех вам над человеком так тиранировать...

И Иван хотел было вывести парня из толпы.

Но мужики оправались от своего смущения и вырвали шалапуту из рук Ивана, крича:

– Не трожь!... Чего ты лезешь?... Мы к батюшке: он рассудит, он наставление ему даст...

Иван был оттеснён толпою, которая плотно окружила шалапуту, и последнего снова потащили. Иван последовал в хвосте толпы.

Пришли к поповскому дому, вызвали батюшку, о. Иоанна. Батюшка предавался послеобеденному сну и был очень недоволен тем, что его разбудили. Узнав, в чём дело, он почувствовал себя в крайнем затруднении.

– Да чего ж вам от меня-то хочется? – переспросил он толпу.

– Креститься он не хочет... Ты, значит, пастырь... блюсти должен... наставь его...

Батюшка переминался с ноги на ногу. Наконец, чтоб затянуть время, он спросил:

– Да чей он?

– А Петровых, что на Астраханке живут...

Батюшку осенила гениальная мысль.

– Так он – не моего прихода. Чего же вы ко мне лезете?.. Ступайте к о. Стефану, а мне с вами толковать нечего...

И батюшка хлопнул дверью и скрылся.

Толпа повалила к о. Стефану. Этот последний оказался сообразительнее своего товарища.

– Вот что, ребята, – обратился он к мужикам, выслушав обвинения против шалапута и желания толпы, – теперь мне возиться с ним некогда, а вы вот заприте-ка его ко мне в амбар, а я его вечером испытую...

Толпе понравилось предложение священника: шалапут немедленно был заперт в амбар, и затем все мало-помалу разошлись. Остался только один Иван и имел удовольствие видеть, как о. Стефан, по уходе толпы, собственноручно выпустил шалапута.

Вот этот-то эпизод и послужил началом того перелома, который привёл Ивана к отрицанию. Он начал задумываться над вопросами из такой сферы, которая до сих пор совсем не привлекала к себе его внимание. До сих пор его мозг работал исключительно над вопросами чисто хозяйственного характера: он думал о посеве, о покосе, об уборке хлеба, размышлял о том, как сделать всё по возможности лучше, скорее и спорее; старательно соображал, как распределить собранные им продукты хозяйства, чтобы их хватило на целый год, до «нови»; всячески ухитрялся «приставлять» Рапоясову поменьше овец, хлеба и проч. Но никогда ещё он не задумывался над взаимными отношениями людей друг к другу. Деревенская жизнь представляет очень много фактов из этой области, могущих навести на размышление; но для этого нужно быть человеком посторонним деревне; нужно, чтобы эти факты были для человека чем-то новым, странным, одним словом – интересным, заслуживающим размышления. Иван же вырос в деревне, привык ко всем самым диким, самым возмутительным фак-

там деревенской жизни, привык относиться к ним как к чему-то естественному, неизбежному. Наконец, эти факты просто объяснялись условиями деревенской жизни, вытекали из них. Нужно было явиться небывалому, невиданному ещё Иваном факту, чтобы он, поражённый этим фактом, задумался над людскими отношениями. А раз его мысль стала работать в этом направлении, материал для этой работы доставлялся деревенскою жизнью в ужасающем изобилии.

Вскоре после эпизода с шалапутом, ум Ивана был страшно поражён фактом, подобие которому случались и прежде, но к которым он прежде относился почти равнодушно. Факт этот был – убийство, и притом из-за причин экономического характера. Дело было в следующем.

Два соседа, большие друзья, посеяли вместе десятину льна. Всё шло хорошо, пока совершались предварительные работы. Но при уборке посева произошла ссора. Один из пайщиков замешкался при уборке других хлебов, а другой в это время скошил ту половину десятины, на которой лён уродился лучше. Когда первый пайщик явился убирать лён и увидел, что ему осталась худшая половина, он предложил товарищу скосить оставшийся лён и затем разделить пополам весь лён в копнах. Товарищ не согласился. Начали ругаться. От ругательств дело перешло к драке. Один компаньон оказался значительно сильнее другого, свалил его и начал душить. У лежавшего под низом был брат, который доселе держался в стороне и в ссоре участия не принимал; теперь же, видя, что сосед душит брата, он схватил «ваг», подбежал к борющимся и ударил соседа «вагом» по затылку. Удар был так удачен, что сосед тотчас же, обливаясь кровью, упал мёртвым. Убийца в ту же минуту пришёл в себя, бросился в село, явился в волостное правление и там со слезами и плачем рассказал, что он убил человека.

Иван присутствовал при вскрытии трупа убитого, рассматривал его проломленный череп, слушал горькие рыдания убийцы, – и всё это произвело на него крайне сильное впечатление. Он с удивлением замечал в себе какое-то новое чувство, доселе не испытанное им. Это отнюдь не было чувством омерзения к убийце, ни страх, который испытывают многие натуры при виде трупа, ни простая жалость к убитому. Это было чувство, которому Иван не мог бы подобрать названия, чувство настолько сложное, что он не мог бы в нём разобраться, если бы и хотел. Тут была и жалость к убийце, и сожаление об убитом,

и неясное, но, тем не менее, сильное чувство боязни, вызванное мыслью о том, что настоящее убийство отнюдь не последнее, что подобные катастрофы ещё долго будут случаться в деревне, что они могут произойти каждый день, каждую минуту. Всего более поразил Ивана несчастный убийца, когда он, падая в ноги всем приходившим смотреть на него, говорил: «делайте со мной что хотите, православные! Пропаций я человек; пропала моя головушка!.. Руки-то мне свяжите, не то я прикончу с собой»... Ивана тем более поражал этот мучительный крик убийцы, что последний всегда был тихим и смиренным парнем, и Иван никак не мог представить себе, каким образом он мог дойти до такого безумного остервенения, чтобы забыть всё и убить человека.

С этого времени мысль Ивана начала усиленную работу над житейско-нравственными вопросами. Он пересмотрел всю нравственную область деревенской жизни и нашёл в ней тысячи «непорядков». «Непорядки» эти оказались положительно всюду: и в семье, и на «миру», и в отношениях мирян друг к другу и к посторонним лицам, и в самой деревенской душе. В душе-то в особенности оказалось много «непорядков». Ивану на первых же порах его мыслительной работы понадобилось уяснить себе, более или менее точно определить самые основные нравственные понятия, – и вот тут-то оказалось, что нив его душе, ни в душах его ближних не было материала для этого определения. Явился, например, у Ивана вопрос: как надо жить по правде? и – к кому он ни обращался с этим вопросом, никто не мог дать ему точного, определённого ответа. Все ответы получались вроде следующих:

– По правде-то?.. Ишь ты!.. Так по правде?.. А не выпить ли нам козушку?..

Или:

– А, должно, Иван, тебя мало пороли?..

Батюшка, к которому Иван тоже обращался за разъяснением, отвечал:

– Оставь, брат, ты эту фанаберию!..

Единственный человек, давший Ивану вполне определённый ответ на его вопрос, был мещанин, маклачивший по мелочи в Александровском. Когда Иван задал ему вопрос о жизни по правде, он предварительно переспросил:

- То есть, как это – по правде? Честно, что ли?
- Как будто так, вроде как бы, – отвечал Иван.
- Ну, так, честно – это: когда берёшь – не кричит, а режешь – не ревьёт...

Много таких вопросов возникало в голове Ивана и много ответов, подобных приведённому, получал он. Все эти ответы имели один и тот же характер: это было наглое издевательство над человеком, над его правами, над нравственностью. Это было с одной стороны; а с другой – этой наглости противопоставлялось какое-то мямленье, какие-то робкие, нерешительные звуки: «собча», «по старине», звуки, лишённые всякого реального содержания, так как ничего «собча» и «по старине» не делалось, а напротив, кругом разыгрывалась настоящая оргия индивидуализма и всё шло «по новому». К концу концов у Ивана составилось представление о мире как об огромном пустом пространстве, в котором царят лишь грабёж и поругание сильного над слабым...

Когда Иван пришёл к такому безотрадному выводу, он бросился в самое необузданное отрицание. Он отверг все жизненные обычаи и повёл жизнь дикаря, отказался от своей семьи, фактически отделился от официального «общества», забыл про подати и отказался повиноваться светским и духовным властям. Он не знал, чем заменить существующее, но был глубоко убеждён, что всё существующее никуда не годно, и потому отвергал его. И это беспощадное отрицание и составляло его силу, благодаря которой он делал в Александровском всё, что хотел, и которой побаивался даже сам господин становой.

II.

Что с Иваном произошла «притча», это обнаружилось в церкви, во время произнесения о. Иоанном Любомудровым проповеди. Проповедь была написана на тему о бескорыстии, тему, которую очень любил развивать батюшка. На этот раз, однако, ему невольно пришлось сократить поток красноречия. Едва только проповедник успел выяснить предмет своей проповеди, как Иван закричал во всё горло:

- Не слушайте его, православные! Ему хорошо толковать, когда у

него в банке пятьдесят тысяч... Ишь он пузо-то какое нагулял! А по-сидел бы он на хлебе с мякиной!..

Все присутствующие растерялись и не знали, что делать. Прежде всех оправился становой и закричал сотским:

– Взять его!..

– Кого? Меня взять? – обернулся Иван к становому, – это тебя, подлеца, нужно взять...

Становой позеленел от злости: никогда ещё не случалось с ним такого афронта.

– Взять его! бить его! – кричал он сотским и уряднику.

Но не успели подчинённые станового привести в исполнение его приказание, как Иван, со словами: «а, так меня бить? так вот же тебе!» бросился на начальника и начал осыпать его ударами. Произошла безобразная сцена, окончившаяся тем, что на Ивана напали все близстоявшие, одолели его и вытащили из церкви. Тщедушный становой очень пострадал во время свалки, но ещё более пострадал Иван. Его, страшно избитого, бросили в «холодную», а через несколько дней отправили в губернский острог.

Началось дело. Самый факт насилия, совершённого Иваном, казался всем таким странным и диким (как потому, что не был вызван ничем, так и по самой обстановке, при которой совершился), что с самого же начала дела у всех лиц, от которых теперь зависела судьба преступника, явилось сомнение в нормальном состоянии его психики. Сомнение это ещё усилилось при ближайшем знакомстве с Иваном на допросах. Иван держал себя грубо, отвечал дерзко, позволял себе ни с того ни с сего выходки вроде следующей:

– Знаю я вас, обдирал, – говорил он на первом же опросе следовательно, – за деньги вы и в Сибирь человека сошлёте, и со всем оправите... Только я вам и гроша не дам!

– Да с тебя никто не хочет ничего брать, – успокаивал Ивана следовательно.

– Толкуй там! Мы тоже кой-что видали... Все вы на один салтык!..

Когда Ивана спросили, за что он бил станового, он категорически заявил:

– А за то, что он – разбойник ...

– Какой же он разбойник? Что же он такое сделал? – попытывался следовательно.

– А вы разве не знаете, что он делает? – возразил Иван и пристально посмотрел на следователя.

Следователь несколько смутился: он действительно знал кое-что, рисовавшее станowego не в хорошем виде. От Ивана не укрылось смущение следователя, и он презрительно заметил:

– А тоже расспрашивает, будто и правду ничего не слышал... Все вы друг за дружку стоите!..

– Нет, Иван, видишь ли, нужно твоё показание в протокол занести...

– А на что мне ваши протоколы?..

– Да, ведь, пойми, – тебе будет плохо, если не найдётся смягчающих обстоятельств... Ведь ты на каторгу угодишь!..

– Эко испугал! Нашему брату везде каторга...

Пробовал следователь расспрашивать Ивана, зачем он вздумал расправляться со становым именно в церкви.

– Ну, положим, ты злился на станowego, – начинал следователь.

Но Иван тотчас же перебивал его:

– Чего мне на него злиться? Если на всех вас злиться, так и злости не хватит...

– Ну, хорошо, хорошо!.. А зачем же ты всё-таки в церкви стал бить станowego, а не в другом месте?

– Ну, а что ж, что в церкви?

– Как что? Ведь церковь – святое место?

– Было святое.

– А теперь?

– А знаешь, кто у нас попом?

– Знаю; что же в нём особенного?

– Зачем особенный, – обнаковенный...

– Ну, и что же?

– И больше ничего...

Следователь начинал сердиться.

– Ну, а попу-то ты зачем помешал проповедь говорить? – спрашивал он уже раздражённым тоном.

Иван тоже сердился.

– И чего ты пристал ко мне, как банный лист... Маленькое дитё ты, что ли, что тебе нужно всё рассказывать? Отвяжись!..

Следователь горячился, убеждал, грозился... и добился, наконец, того, что Иван вышел из себя и заявил ему:

– Поколочу я и тебя, если не отстанешь: всё равно разом за всё в Сибирь пойду...

Возбудили вопрос об умственных способностях Ивана. Комиссия врачей освидетельствовала его и признала умалишённым. Из острога Ивана перевели в жёлтый дом, а через месяц он был отправлен на родину.

Последнее обстоятельство произошло потому, что за содержание Ивана в доме умалишённых некому было платить. Обыкновенно плательщиком в подобных случаях является сельское общество; но александровцы решительно отказались взвалить на свои плечи новый расход на том основании, что Иван для общества безвреден. Такое решение александровского общества, помимо экономических расчетов, обуславливалось также тем, что потерпевшие от Ивана лица популярностью в населении отнюдь не пользовались, и поступок Ивана если и не вполне одобрялся александровцами, то и в особое негодование их не приводил.

III.

Возвратившись на родину, Иван повёл крайне оригинальный образ жизни. Семью он бросил, заявив, что она может жить и без него, и отправился жить на гору, находившуюся недалеко от Александровского. Здесь он вырыл себе пещеру. Пещера эта состоит из двух комнат: передняя, побольше, служит для Ивана как бы приёмной, где он принимает посетителей, а задняя, поменьше, служит собственно жилищем. Жилище это вполне напоминает логово дикаря: никаких удобств, никаких приспособлений в нём нет, не видно никакой мебели, никакой посуды, нет печи, нет окон. Свет проникает в пещеру только через дверь, и, когда она бывает заложена двумя досками, в пещере царит мрак. Спит Иван прямо на земляном полу. В одном углу пещеры он положил два камня и на них разводит огонь; огонь служит ему не для варки пищи, а исключительно для согревания пещеры и для освещения её в длинные зимние вечера.

Ходит он нечёсанный, грязный, оборванный; ноги постоянно, зиму и лето, босые (потому-то он теперь и известен под именем Ивана Босого). Одежда, которую он носит, плохо прикрывает его тело, но он на это не обращает никакого внимания. На него не действует ни холод, ни жар, ни ветер, ни дождь, ни снег. Когда его спрашивают, неужели ему не холодно, он с какою-то странною улыбкою отвечает:

– Дуракам Бог помогает!..

Питается он чем и когда придётся. Его охотно кормят, но он не от всякого соглашается брать пищу и многих филантропов даже всячески ругает в ответ на доброжелательное предложение. В этом отношении он обнаруживает известного рода тенденцию: он охотно обедает у бедных александровцев, с удовольствием принимает приглашения среднесостоятельных мужиков, а богачей осыпает ругательствами всякий раз, когда они решаются предложить ему денежное или съестное подаяние.

Какого-либо определённого занятия Иван на себя не взял. Он не отказывается поработать в каком-либо бедном дворе, если видит, что этому двору нужно помочь. Но никогда он не соглашается работать по найму, за деньги или за какие-нибудь вещи. Вообще же работает он мало, а большую часть времени тратит на «обличения», как выражается местный дьячок. Он бродит по Александровскому и соседним сёлам и придирается к разным лицам, кого он считает нужным поучить: кому притчу расскажет, кого обругает, а кого и просто поколотит. Он любит, чтоб его считали «дурачком», и, пользуясь этим, безнаказанно совершает всё, что ему хочется.

Одни, действительно, считают его помешанным. Другие зовут его «блажененьким», придавая этому слову смысл «юродивого». Есть такие, которые (особенно бабы) считают его святым. Но есть, наконец, люди (и таких среди александровцев немало), которые вполне убеждены, что Иван только «дурака корчит», а что в действительности он очень умный и хитрый человек.

По понедельникам в Александровском бывает базар. Базар этот является базаром для всего уезда. В этот день на александровском выгоне собирается такая масса народу, какая редко бывает на самых больших ярмарках нашей губернии. Иван выходит на базар с псалтырем, становится где-нибудь в укромном месте и начинает читать.

Вокруг него скоро собирается толпа слушателей; послушав некоторое время, они уходят, положив сколько-нибудь денег на псалтырь, а на их место приходят другие. Так продолжается до тех пор, пока Иван не прекращает чтение, и всё это время он бывает окружён массою народа. Читает Иван, почти без перерывов, с раннего утра до полдня, и за это время собирает довольно значительное количество денег. В полдень он прекращает чтение и начинает раздавать собранные деньги пришлым нищим, а также беднейшим александровцам. Себе он не оставляет ни копейки.

Неудивительно, что в виду подобных фактов, большинство александровцев любит Ивана и далеко не все считают его «блаженненьким» или «дурачком». А таких фактов бывает множество. Иван вообще очень изобретателен по этой части. Однажды, дня за два перед Рождеством, он явился к Распоясову и заявил ему:

– А я тебя хочу поджечь.

– Как поджечь?..

– Да так; придёт вот весна – и подожгу...

Распоясов испугался: он был уверен, что Иван в состоянии исполнить самые безумные угрозы.

– Да с чего ты это? Обидел я тебя, что ли?

– Обидел не обидел, а если выкупа не дашь – подожгу.

– Какой же тебе выкуп?

– Кабана...

– Какого кабана?

– Да что ты трёх палил, так одного...

– Да на что тебе кабан?

– А это уже моё дело...

– Возьми лучше деньгами: трешницу дам...

– Говорю тебе: давай кабана... да давай скорей, а то уйду, тогда хоть проси, не проси – не возьму...

Распоясов поёжился, поёжился и к концу концов согласился.

– Ну, так уж ты мне и лошадь с дрогами дай – на базар кабана свезть, – попросил Иван.

– Что же это ты, – торговать хочешь?

– Торговать; хочу капиталы наживать...

Привезши кабана, разрезанного на части, на базар, Иван «кликнул клич»:

– Эй! у кого свининки нет к празднику, – подходи, получай!..

И он раздал всего кабана беднякам.

Сунулись было за свиной двойе десятских, но Иван набросился на них и чуть не избил палкой.

– Ах, вы ироды этикие, живодёры! – кричал он. – Туда же Лазаря поют, проклятые!..

Вот этикие-то факты и были причиною громадной популярности Ивана в Александровском.

Когда он долго не показывался на селе, многие приходили к нему в пещеру. Здесь он держал себя совсем иначе, чем в селе: не ломался, был серьёзен, не ругался, любил разговаривать по душе и о душе. Посетителей у него бывало множество. Одни приходили к нему с горем, как к человеку святому, горящему общим горем и печалующемуся за всех. Другие спрашивали у него практических советов и указаний, доверяя его уму, и хотя его советы были всегда облечены в форму аллегории, спрашивавшие оставались довольны. Бабы приходили посмотреть на него как на «блаженненького», которого даже «холод боится». Последнее они вывели из того, что Иван простаивал обедни возле церкви, стоя босиком по колено в снегу. Факт этот очень поражал баб, и они относились к Ивану с глубоким уважением, смешанным с благоговением.

Из всех своих посетителей Иван больше всех любил шалапутов. Сам он не был шалапутом, не бывал на их собраниях, не принимал участия в разных шалапутских учреждениях, как, например, в кассе, и вообще стоял в стороне от шалапутской общины. Но, тем не менее, отношения между ним и шалапутами были самые превосходные. Для шалапутов он был всегда дорогим гостем и желанным собеседником; они любили его и заботились о нём, насколько это было возможно при его нежелании принимать чьи бы то ни было заботы. В свою очередь Иван любил шалапутов и стоял за них горой. При нём нельзя было дурного слова сказать о шалапутях: он набрасывался с палкой на хулителя и избивал его. Палка Ивана была хорошо известна всему Александровскому и часто пускалась в ход. Сам Иван очень дорожил своей палкой, которая, по его словам, была получена им от какой-то старушки, а та принесла её из Киева. Особенно много пострадал от этой замечательной палки один мужичонко, Илья Вавилов. Илья был

прежде шалапут, но не мог вынести строгого образа жизни шалапутов – он страдал слабостью к вину – и снова перешёл в православие. Священник воспользовался этим единственным случаем обращения шалапуты в православие и уговорил Илью продиктовать ему свою «исповедь», подробный рассказ о том, как он сделался шалапутом и что видел во время пребывания в шалапутстве. «Исповедь» эта была представлена как доказательство миссионерской деятельности, и затем была напечатана в местных епархиальных ведомостях. Вся эта исповедь состояла из целого ряда доносов на александровских шалапутов и в особенности на их главу, родного брата Ильи, Василия Вавилова. Вот за этот-то донос Иван и не мог терпеть Илью; он просто не мог выносить его присутствия. Всякий раз, когда они встречались, Иван без пощады бил ренегата своей палкой до тех пор, пока тот не убегал. Бедный Илья был доведён этим битьём до такого напуганного состояния, что постоянно озирался и высматривал, нет ли где Ивана. Только в пьяном состоянии он имел смелость не избегать своего гонителя, так как в этих случаях Иван не трогал его, а, обрутавши хорошенько, сам уходил прочь.

IV.

Бабы, посещавшие Ивана в пещере, приносили ему сюда иконы. Это был единственный путь, которым бабы могли выразить Ивану своё доброжелательство, так как он никаких иных подарков не принимал. Одни из этих икон презентовались Ивану как «священные», то есть принесённые из Киева, Моздока и других святых мест; другие хотя и покупались в местных лавках, но принимались Иваном как жертвуемые от «чистого сердца». Все эти иконы Иван ставил в передней половине своей пещеры, и так как каждая баба считала свою обязанностью пожертвовать Ивану хоть одну икону, а некоторые приносили по две и даже по три, то скоро ими были уставлены до самого верха две боковые стенки пещеры.

Узнал об иконах батюшка, – тотчас же в его воображении нарисовался целый ряд ужасных картин. Представилось ему, что пещера Ивана служит чем-то вроде молельни для какой-то новой секты и что

Иван отправляет в ней нечто вроде богослужения. Самое это предполагаемое богослужение рисовалось в виде какого-то бесшабашного разгула, дикой пляски, хлыстовского культа. Верил ли батюшка всему этому или он всё это выдумал, чтобы был предлог придрататься к Ивану и отомстить за его «обличения», только он всем выражал своё возмущение тем «поруганием, которому предаются святые иконы» в пещере Ивана, и, наконец, обратился за «содействием» к становому. Становой ещё не забыл старого и потому был рад насолить Ивану хоть чем-нибудь. Собравши толпу низших полицейских чинов – урядников, сотских и десятских, а также захвативши соответствующее количество понятых, становой двинулся к жилищу Ивана для производства обыска. Как-то случилось, что на селе узнали о намерении станового раньше, чем оно было приведено в исполнение, и так как в Александровском никогда никаких обысков не производилось, то александровцы вообразили Бог знает что. Сейчас же начали передавать из уст в уста рассказ о каком-то священнике, который уронил чашу со святыми дарами и которого за это «увезли» в тёмной карете. Куда увезли – об этом не спрашивалось, так как и так было понятно, что не в хорошее место. Такая же участь предполагалась и для Ивана. Это было жутко, но вместе с тем и любопытно. И вот толпы александровцев потянулись по направлению к Ивановой пещере. Многих, конечно, кроме любопытства, влекла и жалость к Ивану: его очень жалели в толпе, и жалели искренно.

Когда становой со своей свитой явился к пещере и увидел, что она окружена массою народа, он несколько смутился. Но оказалось, что его воображение слишком поспешило, так как любопытные александровцы не только не оказали никакого сопротивления, но ещё помогали выносить из пещеры иконы и потом несли их к селу.

Иконы были отнесены в церковь и здесь поставлены в алтаре. Таким исходом дела осталось очень довольно начальство. Не замечалось особого недовольства и среди александровцев, которые ещё шутили по этому поводу: «вот нам и лишний праздничек!» – говорили они. Оказался только один недовольный этой историей – Иван.

Он страшно злился и стал необыкновенно мрачен. На селе он почти не показывался и всё время проводил в своей пещере. С посетителями он также стал неразговорчив. Очевидно, он задумывал что-то,

какой-то план мести, и разрабатывал этот план в подробностях.

Однажды, тотчас после обедни, при которой присутствовал и Иван, священник с дьячком отправились причащать какого-то больного. Сторожа, почему-то, в церкви не было. Этим случаем воспользовался Иван и пробрался в алтарь. Здесь он снял с престола евангелие и антиминс, а с жертвенника дарохранительницу, лжицу, запасную чашу, взял крест и много других вещей и всё это сложил в полу своего бешмета. Из церкви ему удалось выйти тоже незамеченным, и кража была обнаружена только через час, когда вернулся священник. Поднялась тревога. Священник в отчаянии рвал на себе волосы. Дьячок и сторож бегали по селу и расспрашивали, не видали ли кого-нибудь с церковными вещами. Церковных вещей не видал никто, но зато видели, как Иван поспешно бежал с чем-то, завёрнутым в полу. Все тотчас же поняли, что это дело Ивана. Узнав, что он бежал по направлению к пещере, бросились туда. За селом, не доходя пещеры, был колодец, и здесь-то нашли часть похищенных предметов, изломанными и изорванными. Другую часть нашли в самой пещере. Иван, конечно, был арестован и посажен в «холодную».

Первым подверг его допросу становой.

– Как ты смел совершить такое страшное кощунство?

– А ты как смел забрать у меня иконы? – отвечал Иван. – Я сделал то же, что и ты: ты забрал у меня да отнёс в церковь, а я забрал в церкви и принёс к себе, – вот мы и квиты.

– Но, ведь, ты украл священные предметы?

– А мои иконы были грешные, что ли?

История выходила крупная. Священник боялся, чтобы его за неё не расстригли: он сознавал, что самая возможность кощунства обуславливалась его отношением к своему делу, и предугадывал, что архиерей непременно обратит своё внимание на то обстоятельство, что растворённая церковь могла оставаться без всякого присмотра. В результате таких соображений священника явилась конфиденциальная беседа с становым, после которой из акта, составленного кощунства Ивана, исчезло упоминание об антиминсе, евангелии, дарохранительнице и других более важных предметах и осталось только обвинение Ивана в краже трикирия, какого-то плата и креста, и притом не из алтаря, а с клироса.

Опять повезли Ивана в губернский острог и опять стали подвергать допросам. На все вопросы следственной власти Иван отвечал упорным молчанием, и как ни бился с ним следователь, он не услышал от Ивана ни слова. Снова подвергли его медицинскому освидетельствованию, и снова он очутился в доме умалишённых. Опять пошла переписка: снова от александровского общества начальство требовало уплаты денег за содержание Ивана в жёлтом доме – и снова александровцы упорно отказывались от этой уплаты. Убеждал их становой, убеждал мировой посредник, – александровцы не поддавались и стояли на своём. Дело кончилось тем, что Иван снова был «водворён на жительство» в своё село.

V.

С этого времени Иван стал необыкновенно смел и дерзок. Батюшку он просто теснит на каждом шагу, и тот всё молча сносит. Не раз Иван прерывает его проповеди самыми язвительными замечаниями, – и о. Иоанн делает вид, что ничего не слышит, и продолжает проповедь как ни в чём не бывало. Много достаётся от Ивана также местным коммерсантам. Придёт он к лавке Распоясова или кого другого и начинает:

– Эй ты, толстопузый, иди-ка сюда, будем с тобой разговор иметь...

«Толстопузый» знает по опыту, какой характер будет иметь этот разговор, и потому молчит и остаётся в лавке.

– Ну, что же ты не вылазишь из своей берлоги? – кричит между тем Иван. – Совесть что ли тебя зазрила, что ты на свет Божий боишься выглянуть?

На крик Ивана собираются любопытные. Иван обращается к ним.

– А что, ребята, на чём эти лавки выстроены?

– На земле! – отвечает кто-нибудь из толпы.

– Эх, хватил!.. На земле! Дурачье вы безмозглое!.. На ваших хребтах эти хоромы выстроены – вот на чём.

В толпе раздаётся гул подтверждения. Распоясов этого не выносит и как ужаленный выскакивает из лавки.

– Так на ваших хребтах я выстроил лавки? Ах, вы черти этикие!..

Да вы б пропали без меня пропадом. Кто вас выручает-то, как пода-ти придёт время платить, либо скотина падёт, а?! Кто вам хлеб зимой даёт? Ведь вы с голоду подошли бы!..

– Ну, ты тоже, дюже уж кобенишься! – выражает своё неудовольствие толпа. – Отчего у нас хлеба не хватает? Ведь, ты ж осенью у нас его за долги отбираешь да в полцены ставишь...

– Ах, вы идолы этакие! – горячится Распоясов.

– Сам ты идол! – отвечает толпа. – Ишь, нашим потом разжирел, да ещё измывается всячески!..

Начинается ругня по всем правилам искусства. Иван ещё подлива-ет масла в огонь.

– Так его, православные, хорошенько! А то он скоро живвём глотать всех будет...

И затем отправляется ругаться к другому коммерсанту.

По отношению к полиции Иван просто бесчинствует. За десятски-ми он постоянно гоняется с палкою, и те спасаются от него только благодаря быстроте своих ног. Урядник боится показаться ему на гла-за. Самого станowego он не раз ругал всячески и грозил рано или позд-но «добраться и до него». И, наконец, добрался.

Дело было на пожаре. Горел бедный мужик, живший на самом краю села. Самое деятельное участие в тушении пожара принимал Иван. Он лазил в самый огонь и спасал всё, что было можно спасти. Он за-коптился сажей, раскраснелся от жара; несколько раз загорались его лохмотья. Когда пожар уже кончался, он отбежал в сторону и сел от-дохнуть. В это время явился становой, только что кончивший пульку с мировым судьёй. Хотя пожар был уже почти совсем прекращён, ста-новому, тем не менее, захотелось показать свою распорядительность. Увидав, что какой-то мужичонка сидит спокойно в стороне и не помо-гает тушить, он подбежал к нему и схватил его за шиворот.

– Ты что же, такой сякой, так тебя разэтак, не тушишь... ступай туши!..

И толкнул мужика в затылок.

Иван, который и был этим подвернувшимся мужичонкой, расви-репел. Обернулся он, да как становому размахнётся... Тот так куба-рем и полетел.

Становой был что называется «на чеку». Об его подвигах произво-

дилось негласное дознание, и он боялся слететь с места. А тут новый скандал! Узнает губернатор – и фить!..

Всё это быстро промелькнуло в голове станового, когда он поднялся с земли. И он, оглянувшись, заметил только:

– Ну, Иван, никому не говори!..

И отправился ближе к пожару...

Вскоре после этой истории у Ивана произошло новое столкновение.

Отправился он по уезду. В одном селе его оборванный костюм показался подозрительным местному уряднику, и тот потребовал у него паспорта.

– Есть у тебя вид? – спрашивает урядник Ивана.

– А у тебя есть вид? – отвечал Иван.

– Какой у меня вид? – удивился урядник.

– А у меня какой?

– Да ты знаешь, с кем говоришь? – рассвирепел урядник.

– А ты знаешь, с кем говоришь? – не менее задорно спрашивает Иван.

– Ах, ты негодяй! сволочь!

– Ты сам сволочь!..

– А, так ты вот как?..

И урядник схватил за шиворот Ивана. Иван в свою очередь схватил урядника. На помощь уряднику уже бежали низшие полицейские чины; они сбили Ивана с ног и стали бить его. Оправившийся урядник принял участие в избииении. Били долго и безжалостно, пока Иван не потерял сознание. Тогда его бросили в «тёмную», а когда он пришёл в себя, отправили в «уезд».

Исправник с важностью начал допрашивать его.

– Как же ты смел оскорблять урядника?

– А отчего вас, дьяволов, не оскорблять? – серьёзно замечает Иван.

– Да ты как смеешь со мной так разговаривать?

– А ты как смеешь со мной так разговаривать?

Исправник только плюнул и велел вытолкать Ивана из «присутствия».

– Ты толкать-то меня толкай, а палку мою всё-таки отдай!

– Какую там ещё палку?

– Такую!.. Ироды-то твои у меня взяли, как били...

– Ну, убирайся! Какая ещё палка!..

– Я уберусь, а ты палку мне подай! Она, может, мне дороже тыщи рублей...

– Пошёл вон!.. Гоните его! – приказал исправник сторожам.

Ивана вытолкали из присутствия. Но он не унимался и кричал уже на улице:

– Так что же вы, черти эдакие, замотать палку-то хотите?.. Нет, шалишь! Я на тебя найду управу... Палка-то, она из Киева, а не то чтобы какая-нибудь...

В это время в Александровском проживал учёный агроном, командированный сюда для изучения какого-то насекомого, истреблявшего хлеба. Иван виделся с ним ранее и почувствовал к нему уважение за его учёность. Вот к нему-то и отправился Иван с жалобой на исправника.

– Скажи мне, – прямо приступил Иван к делу, – можно ли подавать на исправника просьбу?

– Можно.

– А кому?

– Губернатору надо.

– Ну, а губернатор этот тоже вроде как бы член какой?

– Да вроде как член. Чиновник...

– Ну, так стало быть, не стоит.

– А ты за что хотел жаловаться на исправника? – поинтересовался агроном.

– Да видишь ли, какая история...

И Иван рассказал про своё столкновение с урядником.

– Главное, палку-то мне жалко, – закончил рассказ Иван, – палку-то мне, ведь, из Киева бабушка одна принесла...

– Ну, если только из-за одной палки, то просьбы, действительно, не стоит подавать.

– Не воротишь, стало быть, палки-то?

– Не воротишь...

– Ишь ты! Стало быть, правды-то нигде нет? – То-то и я так соображаю: нигде, мол, правды нет... И какая со мной, брат, история была, просто чудно говорить. Иду это я, братец ты мой, и слышу, кто-то зо-

вёт меня: «дядя Иван! дядя Иван!». Да такой-то тоненький голосок!.. Я гляжу туды-сюды, – никого нет. Что такое, думаю, за притча? А он опять кричит: «дядя Иван! а, дядя Иван!». Глядь, а это рак: ползёт, братец ты мой, по дороге, да и зовёт меня. Что, говорю, тебе нужно? А он и говорит: «возьми меня с собой, давай вместе жить!». Да с чего ты это? – спрашиваю. – «А с того, говорит, что нельзя мне больше в воде жить: не стало у нас правды». – Да отчего это? – говорю. – «А оттого, говорит, что Распоясов платину больно высоко на своей мельнице поднял: нам-то, говорит, хорошо, места больше под водой стало, а вот мужичкам обидно стало, – покосы ихние затопило. Ну, вот, говорит, и я убежал из речки-то, чтоб в одной компании с разбойником не быть»... Это он Распоясова разбойником-то называет... «Возьми, говорит, ты меня с собой: потому другие-то пусть как хотят, а мне больше неподручно жить в речке, – совесть, говорит, зазрит»... Ну, и взял я его и отнёс в управление...

Иван говорил всё это с самым серьёзным лицом. Агроном слушал тоже серьёзно, но под конец улыбнулся.

– А ты чего смеёшься? – с неудовольствием спросил Иван. – Думаешь, – брешу? Поди-ка в управление: там рак к казённой бумаге припечатан лежит... А ты лучше скажи, как по твоему, по учёному: правильно ли рак рассудил насчёт правды-то?

– Кажется, правильно...

– Ну, вот ты и мотай это на ус...

И Иван повернулся и ушёл.



ПРИМЕЧАНИЯ

Сборник рассказов Я. В. Абрамова «В поисках за правдой» – это первая книга писателя, подготовленная к выпуску в петербургском издательстве Ф. Ф. Павленкова (1839–1900), напечатанная в 1884 году в типографии А. М. Котомина, но так и не дошедшая до читателя. По распоряжению цензуры тираж книги был уничтожен непосредственно в типографии. Судя по всему, такая участь постигла как первое, так и второе издание этой книги. Причина, по которой был запрещён сборник прозы двадцатипятилетнего автора, заключается в резко обличительном изображении жизни пореформенной России, глубоком художественном анализе причин бедственного положения народа в условиях развития капитализма, в критике церкви и изображении сектантских общин (с критикой церкви выступали в эти годы и такие писатели, как Н. С. Лесков и Л. Н. Толстой). Нравственно-эстетическая позиция писателя противоречила внутренней политике русского самодержавия, усиливавшего борьбу с освободительным движением после убийства в 1881 году террористами-народовольцами царя Александра II. Показательно, что в том же 1884 году было приостановлено и запрещено издание лучшего демократического журнала «Отечественные записки», в котором Я. В. Абрамов активно сотрудничал, а с марта того же года вёл отдел «Внутреннее обозрение». В № 87 «Правительственного вестника» от 20 апреля 1884 года сообщалось, что журнал «не только открывал свои страницы распространению вредных идей, но и имел ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ».

Я. В. Абрамов как идеолог культурнического течения в реформаторском народничестве 1880-х – 1890-х годов не разделял убеждений «русских последовательных марксистов», которые делали ставку на усиление классовой борьбы и революционные методы перехода страны к социализму. Об этом он писал в рассказе «Гамлеты – пара на грош», опубликованном в 1882 году в журнале «Устои». Будучи сторонником идеи эволюционного развития, постепенного движения по пути социального и культурного прогресса, Я. В. Абрамов обосновывал программу широкой просветительской деятельности и «работы в

народе», ставил перед демократически настроенной интеллигенцией цели осуществления реальной помощи народу, а перед народническими теоретиками – задачи постижения внутренних закономерностей развития народной жизни. С этой точки зрения было принципиально важным изучение жизни народа – крестьянства, городской бедноты, мещанского сословия, чему он посвящал своё художественное и публицистическое творчество.

Писатель не случайно уделял такое большое внимание сектантскому движению. В исторических условиях развития капитализма и трудной борьбы народа с городской и сельской буржуазией важно было показать реальное положение масс и осмыслить те перспективные формы самоорганизации народной жизни. Такие формы, по мнению Я. В. Абрамова, стихийно вырабатывались сектантскими общинами. От многих народнических идеологов писатель отличался тем, что не идеализировал социально-историческую роль крестьянского «мира», крестьянской общины. Ещё будучи пятнадцатилетним гимназистом он понимал, что капитализм строится на «неправильном преимуществе капитала над трудом», является строем, противоречащим идеалам справедливости и гуманизма (Государственный архив Ставропольского края. Ф. 91. Оп. № 1. Л. 179). Такой «новый порядок», пришедший на смену феодально-патриархальным отношениям, обострял социальные конфликты и противоречия, обесценивал нравственные нормы и законы «жизни по правде». Ответ на вопрос, «как надо жить по правде», который «явился... у Ивана», героя рассказа «Иван босый», ищут «униженные и оскорблённые» в произведениях Абрамова, связывая «жизнь по правде» с «честностью», изначально не присущей всему социальному порядку до- и пореформенной России.

Первая книга Я. В. Абрамова включала рассказы, характеризующиеся качествами жанрового синтеза: это романизированный рассказ-повесть «Ищущий правды», рассказы-очерки «Мещанский мыслитель», «Иван босый», рассказ-путешествие «Среди сектантов». Все они создавались в 1880 – 1882 годах, в основу сюжета каждого из них были положены реалии ставропольской жизни. Однако сила художественного обобщения в этих произведениях начинающего писателя была такова, что они воспринимались читателями как достоверное отражение глубинных закономерностей жизни России в целом.

Художественное творчество, которое в XIX в. являлось наиболее значимой социальной формой интеллектуальной деятельности (литература в эту эпоху была ведущей формой общественного сознания, что и придавало художественному творчеству сакральный смысл), Я. В. Абрамов подвергает социологической объективации. Ко времени начала его творческой деятельности изменился характер литературной жизни: более динамичными стали процессы её демократизации; политика, философия, наука, общественная мысль, публицистика всё более дифференцировались в углублённом освещении тех проблем, разработку которых до этого времени брала на себя художественная литература, выполняя роль «учебника жизни» (Н. Г. Чернышевский). Это был период начала десакрализации литературы, что непосредственно сказалось на работе Абрамова-писателя. Собственно художественным творчеством он занимался только в первой половине 1880-х годов, при этом в его произведениях всегда было открыто выражена установка на документализм, на «правду факта». Сюжетная стратегия в каждом из них мотивируется реальными условиями самой жизни. Подлинность как основа художественных положений прозы Я. В. Абрамова свидетельствует о важной тенденции в его творческом процессе: беллетристические жанры для писателя не были столь предпочтительными, как публицистические. Решение социальных и просветительских задач определяло характер его творческой интенции, подчинялось целям воздействия на социальные процессы и общественное самосознание. Публицистика позволяла более оперативно и действенно откликаться на актуальные проблемы времени. Необходимость активного влияния на процессы социокультурного развития в эпоху «безвременья», «хмурых людей» (А. П. Чехов) заставляла Я. В. Абрамова-прозаика специализироваться на создании дискурса иного типа. Вот почему с 1886 г. он целиком посвящает себя публицистике, работе над аналитико-социологическими и научно-популярными изданиями, инициирует создание книг-биографий для серии «ЖЗЛ», сам участвует в этом проекте и т. д. В 1891 – 1893 годах в издательстве Ф. Ф. Павленкова в серии «ЖЗЛ» вышло семь книг Я. В. Абрамова, посвящённых жизнеописанию Х. Колумба, Г. Стэнли, Б. Франклина, В. Н. Каразина, М. Фарадея, И.-Г. Песталоцци, Д. Стефенсона и Р. Фултона.

«В поисках за правдой» в богатом литературном наследии Я. В. Абрамова осталась единственной книгой художественной прозы. Она даёт яркое представление о его незаурядном писательском таланте.

Печатается по сохранившемуся – без обложки и без титула – экземпляру из тиража второго издания книги «В поисках за правдой» 1884 года¹. Этот экземпляр принадлежал Н. П. Вукотичу (1856 – 1910), известному преподавателю в средних учебных заведениях Петербурга, скорее всего, человеку из круга Я. В. Абрамова. (Я. В. Абрамов ряд своих книг и статей посвятил проблемам образования, в 1889 году выпустил два «Руководства» для преподавания арифметики и русского языка, в том же году вместе с писателем-классиком В. М. Гаршиным и педагогом А. Я. Гердом составил «Обзор детской литературы за 1885 – 1888 гг.», в 1890 – 1905 годах вёл «Хронику народного образования» и «Хронику народных библиотек» в петербургском журнале «Русская школа».) Н. П. Вукотич после окончания Петербургской земской учительской школы работал учителем, в сентябре 1882 года (как за три года до этого и Я. В. Абрамов) привлекался к дознанию политического характера, в ходе которого было установлено, что он распространял революционные издания, а потому был взят под негласный надзор полиции. Экземпляр книги Я. В. Абрамова, принадлежавший Н. П. Вукотичу, поступил в фонд «Государственной публичной библиотеки в Ленинграде», в настоящее время находится в отделе редкой книги Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

Среди сектантов. Впервые опубликовано: Федосеевец [Абрамов Я. В.]. Среди сектантов (Из путевых заметок) // Слово. – 1881. – Февраль. – С. 1 – 45.

С. 21 *...не видать ли где белой полсти...* Полсть, полстина – полотнице, толстый и плотный лоскут (тканый, плетеный, стёганный), предназначенный для покрытия чего-либо или для подстилания под что-то.

¹ Абрамов Я. В. В поисках за правдой: сб. рассказов. – 2-е изд. – СПб.: Тип. А. М. Котомина и К^о, 1884. – 192 с.

С. 23 ...*сектанты-шалапуты*. Шалопуты, шелапуты – одна из сект среди сектантского движения хлыстов. Эта религиозная секта появилась на юге России, в Ставропольской, Кубанской и Терской областях, в 1860-х годах. Сами себя шалопуты называли «духовными христианами» и «братьями духовной жизни». Главным источником вероучения они признавали совесть и разум, которые, по их мнению, у истинно верующего человека просветляются и руководятся Святым Духом.

С. 23 ...*чтобы кормить даром сэстолько народу! Сэстолько (нар.) – вот сколько (указывая).*

С. 23 *В Евангелии что сказано? Алчущего накорми, жаждущего напой...* Евангелие от Матфея: XXV, 31–36, 41–43.

С. 26 ...*прозелиты направляются к опытным учителям шалапутства*. Прозелит – 1) тот, кто принял новую веру, вероисповедание; 2) новый и горячий приверженец чего-либо.

С. 25 *Ведь и в писании сказано: «исповедуйте друг другу согрешения...»*

Соборное послание Святого Апостола Иакова: V, 16.

С. 28 *Нечто подобное я видел в «Святых горах»...*

Святые горы – название меловых выступов на правом берегу реки Северский Донец. «Святые горы» – в XIX веке Свято-Успенский мужской монастырь в Изюмском уезде Харьковской губернии, создававшийся в XIII – XVI вв. К Святым Горам стекались богомольцы со всех концов России, «здесь просияли в молитвенных подвигах многие подвижники Божии», в том числе и те, кто позже был причислен к лику святых. Ныне – национальный природный парк, расположенный в северной части Донецкой области, в Славянском, Лиманском и Бахмутском районах.

С. 30 *Я отправился к местному священнику (его сын был мне товарищ по семинарии)...*

Образ повествователя создаётся с использованием автобиографического материала. Я. В. Абрамов в 1875 – 1877 годах учился в Кавказской духовной семинарии, в г. Ставрополе-Кавказском.

С. 34 *...не похож ни на казака, ни на шабая...*

Шабай (арабск.) – 1) юноша, юнец; 2) посредник в торговле между производителем товара и купцом; 3) мелкий торговец и скупщик сельскохозяйственных продуктов.

С. 34 *...мы сознали свои обязанности по отношению к народу...*

«Долг» интеллигенции перед народом – одна из главных идеологем в мировоззрении и теории русского народничества второй половины XIX века. О «решении» самого Я. В. Абрамова «непосредственно познакомиться с жизнью народа, с его духовною жизнью» даёт представление дневник будущего писателя времени обучения в V и VI классах Ставропольской мужской гимназии (1873 – 1875) и в Кавказской духовной семинарии (1875 – 1877). (ГАСК. Ф. 91. Дело 1964.)

С. 36 *...тип, соответствующий великорусской черничке.*

Чернички – незамужние крестьянки, жившие в келейках (небольших женских кельях) на положении монахинь.

С. 41 *«Блаженны милостивые, так как они помилованы будут»...*
Евангелие от Матфея: V, 7.

С. 41 *«...прочитал по одной главе из книги св. Тихона «О должностях христианина»...*

Святитель Тихон Задонский, епископ Воронежский (в миру Тимофей) (1724 – 1783). Для пастырей написал ряд сочинений: «О семи Святых Тайнах», «Прибавление к должности священнической», «О таинстве Покаяния», «Правила монашеского жития», «Сокровище духовное, от мира собираемое», «Об истинном христианстве» и др. «Наставление о собственных всякого христианина должностях» (1769) переиздавалось неоднократно, возможно Я. В. Абрамов имеет в виду издание 1870 г.

С. 41 ...и из книги «Путь в царствие небесное».

«Указание пути в Царство Небесное» (1833) святителя Иннокентия, митрополита Московского (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов) (1797 – 1879) выдержало более 40 изданий.

С. 41 ... «Благослови, душе моя, Господа»...

Псалом 102. Псалмы – Священные молитвенные песни, написанные по преимуществу пророком Давидом и собранные в одну книгу, называемую Псалтирь.

С. 41 ...«Хвалите имя Господне»...

Псалом 134.

С. 41 ...«Заступница усердная».

Тропарь Иконе Божией Матери Казанская. Тропарь – песнопение в честь какого-либо православного праздника или святого.

С. 43 «О, невинного страдальца...». Вариант песни «Ах, невинно мы страдаем...» См.: Материалы к истории и изучению русского сектанства и старообрядчества / под ред. Владимира Бонч-Бруевича. – Вып. 4: Новый Израиль / С предисл. и примеч. В. Бонч-Бруевича – СПб., 1911. – С. 380 – 381.

С. 46 ...я запомнил жития Алексия, человека Божия, бессребреников Космы и Домиана и св. Агнессы...

Алексий, человек Божий (вторая половина IV века – ок. 411 года) – христианский святой (в лике преподобных), аскет. Почитается Православной и Католической Церквями.

Косма́ и Дамиа́н – братья, святые-бессребреники, врачеватели и чудотворцы, по церковной традиции предположительно жившие во второй половине III – начале IV вв. Приняли мученическую смерть в Риме при императоре Карине (283 – 284).

Агнесса Римская (ок. 291 – 304) – мученица из Рима, одна из наиболее известных и почитаемых раннехристианских святых.

С. 47 *Затем шли рукописи...*

Рукописные списки молитв-оберегов («Сны Пресвятой Богородицы»), духовных стихов («Плач Иосифов»), апокрифов («Сказание о двенадцати пятницах») и т. д.

С. 47 Г. *Пругавин встретил те же самые афоризмы...* Пругавин Александр Степанович (1850 – 1920) – известный публицист, этнограф, историк, исследователь старообрядчества и сектанства, один из деятелей реформаторского, легального народничества последних десятилетий XIX – начала XX века.

С. 48 *Впоследствии я узнал, что это было «общество распространения книг св. Писания».*

«Общество для распространения Священного Писания в России», учрежденное в Санкт-Петербурге (Устав Высочайше утвержден 2 мая 1869 г.), оказывало активное содействие в распространении Библии среди православной части населения России с 1863 г.

С. 50 *...шёл мимо карагода один святой...*

Карагод – древний народный круговой массовый обрядовый танец, содержащий в себе элементы драматического действия; хоровод, танец-игра, сопровождаемый пением, иногда обрядового значения.

С. 50 *...почитаем... Катерину, Егория...*

Святая *Екатерина* (287 – 305) – александрийская царица, христианская великомученица.

Егорий Храбрый – герой эпических духовных стихов, в основе которых апокрифические сказания о мученичестве Святого Георгия.

С. 51 *За рассказом об Алексее, человеке Божьем, следовали рассказы о Варваре-великомученице, о Софье и её трёх дочерях вере, Любви и Надежде, о Феодосии Печерском...*

Святая Варвара Илиопольская (умерла в 306 году) – христианская великомученица, считается защитницей от внезапной и насильственной смерти. Вера, Надежда, Любовь и мать их София – христианские святые, почитаемые в лике мучениц. Жили во II веке в Риме. Фе-

одосий Печерский (ок. 1008 – 3 мая 1074) – православный монах XI века, святой Русской православной церкви, почитаемый в лике преподобного, один из основателей Киево-Печерской лавры.

С. 57 Шабай – это почти то же, что в Великороссии прасол.

Прасол (устар.) – оптовый скупщик в деревнях мяса, рыбы, скота и сельскохозяйственного сырья для перепродажи.

С. 62 ...закрытая с трёх сторон постройками – сараем, конюшней и закутой.

Заку́т, закута – 1) хлев для скота (обычно мелкого); 2) тесное, тёмное помещение; 3) чулан, кладовая.

С. 66 «Ныне, ныне я печален...»

– молитвенная песнь ко Господу Иисусу Христу. Входит в репертуар современных исполнителей (О. Шаповалов и др.).

Мещанский мыслитель. (Сектант Григорий Петрович). Впервые опубликовано: Федосеевец [Абрамов Я. В.]. Мещанский мыслитель // Слово. – 1881. – № 4. – С. 65 – 91.

С. 73 ...влезет на самую вершину вот этой дули...

Дуля (обл.) – название некоторых сортов небольших груш.

С. 77 Однажды, когда Ворохов читал «Подлиповцев»...

«Подлиповцы» Ф. М. Решетникова – этнографический очерк из жизни бурлаков, опубликованный в 1864 году в журнале «Современник».

С. 77 Для этого он читал ему наших беллетристов, преимущественно из числа писавших о народе.

Помяловский Н. Г. (1835–1863), Слепцов В. А. (1836–1878), Решетников Ф. М. (1841–1871), Левитов А. И. (1835–1877) – беллетристы-демократы 1860-х годов; Успенский Г. И. (1843–1902), русский писатель-классик; поддерживавший творческие отношения с Я. В. Абрамовым; известно 7 писем Г. И. Успенского к Я. В. Абрамову 1886–1889 гг.

С. 79 ...Христос сказал богатому юноше, чтобы он роздал все свое имущество бедным...

Евангелие от Матфея: XIX, 16 – 26. Евангелие от Марка: X, 17 – 27. Евангелие от Луки: XVIII, 18 – 27.

С. 81 Не раз останавливался он на словах Христа о всеобщей любви, о любви не только к ближнему, но и к врагу.

Евангелие от Матфея: V, 43 – 44.

С. 90 Сказано: милости хочу, а не жертвы.

Евангелие от Матфея: IX, 12 – 13.

Ищущий правды. Впервые опубликовано: Федосеев [Абрамов Я. В.]. Ищущий правды // Отечественные записки. – 1882. – Т. ССLXII. – № 5. – Отд. 1. – С. 33 – 72.

Рассказ произвёл хорошее впечатление на И. С. Тургенева, о чём он писал в письме редактору «Отечественных записок» М. Е. Салтыкову-Щедрину 26 мая (7 июня) 1882 г. из Буживаля (Франция). По жанру «Ищущий правды» представляет собою романизированный рассказ, тяготеющий к жанровой форме повести. Это было усилено тем, что при переработке текста для книги «В поисках за правдой» автор включил в него очерк-рассказ «Бабушка-генеральша», опубликованный ранее в виде самостоятельного произведения в журнале «Отечественные записки» под псевдонимом Федосеев (Отечественные записки. – 1881. – № 6. – Отд. 1. – С. 509 – 524). Топонимика объединяет эти два произведения: действие в «Ищущем правды» и «Бабушке-генеральше» происходит в станице Шалашной, «прототипом» которой была, скорее всего, ставропольская станица Ладовская балка, где в 1874 – 1875 годах не раз бывал Я. В. Абрамов, работая в тех местах у богатого родственника. В обоих произведениях показано, как «стал рушиться старый строй» под натиском мироедов, «коммерсантов», кулаков-ростовщиков, как укреплялся в пореформенной деревне «культ золотому тельцу», деградировал крестьянский «мир», то есть крестьянская община, которая «мало по-малу превращалась в собрание людей, ничем не связанных друг с другом, людей, интересы которых не только

не солидарны, но часто прямо противоположны» («Ищущий правды», гл. I «Нелюдимец»).

С. 97 ...его отличали добавочным прозвищем «закомелистый»...
Закомелистый – ствол дерева, сильно утолщённый у основания.

С. 99 ...где «каждый за всех и все за одного»...

«Все за одного, и один за всех» – русская пословица. (Даль В. И. Пословицы русского народа. – М.: В университетской типографии, 1862.)

С. 105 ...«в двенадцатом году граф Платов рушил французов», или о «грузинском князе Цицианове»...

Платов Матвей Иванович (1753—1818), граф (с 1812) – атаман Донского казачьего войска (с 1801), генерал от кавалерии (с 1809), который принимал участие во всех войнах Российской империи конца XVIII – начала XIX века. Во время Отечественной войны 1812 года командовал всеми казачьими полками.

Цицианов Павел Дмитриевич (1754 – 1806), князь – российский военный деятель грузинского происхождения, генерал от инфантерии, переводчик, один из покорителей Закавказья.

С. 114 «гас», т. е. фотоген, ситцы и т. п.

Фотоген – каменноугольное масло, употребляемое для сжигания в лампах.

С. 120 ...«исключать из своего состава порочных членов и передавать их в распоряжение правительства»...

Цитируется пункт 54 раздела «О сельских сходах» из «Высочайше утвержденного общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» (1861). («Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXVI, отделение Первое, изд. 1863 г., № 36657.) См.: Крестьянская реформа в России 1861 г.: Сборник законодательных актов. – М.: Гос. изд.–во юридической литературы, 1954. – С. 51.

С. 132 ...дала опять обещание Троицу-Сергия посетить.

Троице-Сергиева лавра (в церковной литературе обычно Свя-

то-Троицкая Сергиева лавра) – крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви с многовековой историей. Расположена в центре города Сергиева Посада Московской области. Основана преподобным Сергием Радонежским в 1337 г. На протяжении столетий Троице-Сергиева лавра является одной из самых почитаемых общерусских святынь, крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.

С. 136 ...*что вычитывалось в «Чети-Минеях».*

Четьи-Минеи, или Минеи-Четьи (греч., слав. «ежемесячные чтения») – то же, что и четьи (то есть предназначенные для домашнего чтения, а не для богослужения): сборники житий святых, изложенных в порядке празднования их памяти по православному церковному календарю, на все дни года. Первые Минеи-Четьи известны с XII в. Наибольшей популярностью на Руси пользовались Великие Минеи-Четьи святителя Макария и Минеи-Четьи святителя Димитрия Ростовского (ок. 1700 г.)

С. 139 *«Где вы, люди Божии, были?» – «У Ионы-пророка»...*

Пророк Иона – библейский пророк, жил на рубеже VIII–IX веков до н. э.

С. 139 *И напущу, глаголет Саваоф, на ваши поля...*

Саваоф (с евр. «воинственный») – одно из библейских названий Бога, одно из имён-эпитетов Яхве, символизирующее могущество Бога. Впервые встречается в книгах Царств (книги Ветхого Завета), используется пророками и в псалмах.

С. 142 ...*Бог-то Бог, а мамон своим чередом!..»*

Мамон – у некоторых древних народов бог богатства. Мамона – богатство, земные блага.

С. 143 – *Штунда! – отвечал тот... Штундовыи... вера такая, значит, религия...*

Штунда – 1) название ряда религиозных сект в России во второй по-

ловине XIX века; дано русской православной церковью, усмотревшей влияние на эти секты религии протестантских обществ немцев-колонистов Южной России, называвшихся «штундовыми» (от нем. Stunde – час), т. к. они отводили специальные часы для изучения Библии; 2) условное церковное тенденциозное название совокупности религиозно окрашенных крестьянских движений 1860 – 1870-х годов, возникших на основе недовольства Крестьянской реформой 1861 года, оппозиционных официальной православной церкви.

С. 147 *Старик, читая евангелие, упомянул о «положении души за други своя».*

Евангелие от Иоанна: XV, 10 – 13.

С. 146 *Люди эти избранники Божии, Христовы люди, белые голуби...*

Ско́пцы (самоназвания «агнцы Божьи», «белые голуби») – последователи мистической секты «духовных христиан», возводящей операцию оскопления в степень богоугодного дела.

С. 148 *...старик остановил внимание Афанасия Иваныча на следующем месте евангелия: «Ибо есть скопцы...»*

Евангелие от Матфея: XIX, 12.

С. 149 *...«кто может вместить, да вместит».*

Евангелие от Матфея: XIX, 12.

Иван босый. Впервые опубликовано: Федосеевец [Абрамов Я. В.]. Иван босый (очерк) // Дело. – 1882. – № 11. – С. 76 – 100.

С. 155 *...и расположились около «ветряка».*

Ветряк – ветряная мельница.

С. 163 *...никогда ещё не случалось с ним такого афронта.*

Афронт (устар.) – неудача, посрамление.

С. 163 *Все вы на один салтык!..*

Салтык (разг., устар.) – вкус, лад, манер, образец.

С. 168 *Туда же Лазаря поют, проклятые!..*

Петь Лазаря – жаловаться на судьбу, просить чего-либо, самоуничижаться и т. п. Источник этого образного выражения – Евангелие от Луки: XVI, 20 – 21.

С. 171 *...снял с престола евангелие и антиминос...*

Антиминос – (греч. – вместо и лат. престол) – четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с зашитыми частицами мощей, на котором совершается литургия.

С. 171 *...осталось только обвинение Ивана в краже трикирия...*

Трикирий – особый подсвечник для трех свечей, используемый при архиерейском богослужении наряду с дикирием. Дикирий – подсвечник для двух перекрещенных свечей.

Литературно-художественное издание

Яков Васильевич Абрамов

В поисках за правдой



Верстка: Е.К. Метякова
Корректурa: Л. П. Грунина

Формат 60x84 1/16.
Бумага и печать офсетная. Тираж 700 экз.
Отпечатано: ООО «Технопринт»,
г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а, тел. (3842) 35-21-19